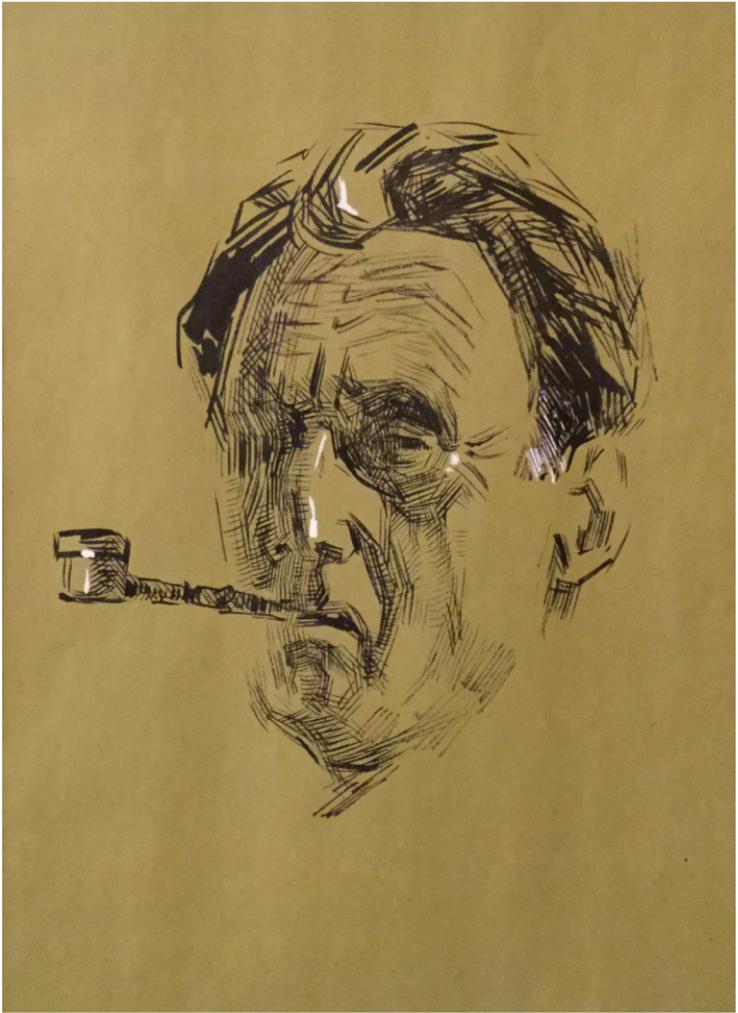


Александр Греф

Оставайся собой
Рассказы о Моне

Москва 2017



Истории о моём отце, посвящаю внукам.

— С чего начать, Федя?

— Начни «про лягушку»...
(Диалог)

Библиографическая карточка публичной библиотеки

Однажды мальчик Моря пошёл в Публичную библиотеку Нью-Йорка на Манхэттене почитать книжки в русском отделе.

Моря нашёл зал с русскими книгами, снял с полки томик Аркадия Аверченко и начал читать рассказы. Смешные истории Аверченко он помнил ещё по Петербургу, когда жил там до Революции, и помнил, что все веселились и пересказывали анекдоты Аверченко друг другу.

Читая Аверченко, Моря прыснул один раз, другой — и уже не мог сдержаться. В зал, услышав смех в библиотеке, заглянул человек: у полок стоял рослый опрятный мальчик с книгой в руках.

Новый знакомый попросил перевести рассказик. Моря перевёл: «Папа сбрасывает с дерева яблоки, а сынок собирает их с земли и ест одно за другим. Мальчик спрашивает: “Папа, у яблочек бывают ножки?” — “Нет, милый,” — отвечает с дерева папа. — “Значит, я лягушку слопал!”»

Через некоторое время вокруг Мони собралась небольшая толпа. Он переводил русского писателя историю за историей, и по всей библиотеке города Нью-Йорка разносился громкий хохот.

Когда через 90 лет после той истории я оказался в Нью-Йорке, я отыскивал Публичную библиотеку. Вернее, не отыскивал, а случайно на неё наткнулся, бродя по 5-й авеню. И тут же вспомнил рассказ отца.

Было утро, около одиннадцати эй эм, но в огромном зале занималось довольно народу. И слонялась бесцеремонная публика со всего света, слепившая вспышками терпеливых читателей, глазеющая на роскошные потолки, мраморные крутые лестницы, сияющие мониторы на вековых тёмных столах.

На втором этаже не миновать зала картотеки, и я нашёл его таким, каким он был сто лет назад. Я сразу почувствовал: вот.. именно здесь, именно сюда приходил мой отец мальчиком и искал книжки. Да, зал картотеки сохранился точно таким, каким был когда-то, за исключением незначительной мелочи: в нём не было ящиков с карточками! На столах стояли включённые мониторы.

Я подсел к свободному столику — сначала на краешек стула, потом поуверенней — и набрал: «Arkady Averchenko».

И мгновенно получил ответ: десяток книжек Аркадия Аверченко разных годов издания. И среди них две книжки 1921 и 1925 годов — как раз того времени, когда отец, мальчик Моня, посещал этот зал.

В центре зала размещалась солидная, тёмного дерева конторка библиографа, который явно скучал. Я смотрел на эту старинную конторку и думал, что возможно получить старые формуляры, ведь

американцы сохраняют всё. Я был просто уверен, что могу найти карточку с именем отца, который держал в руках, перелистывал одну из этих книжек почти сто лет назад. Надо только поговорить... Но, видите ли, друзья, я постеснялся. Я нетвёрд в английском и побоялся того, что не сумею объяснить библиографу своего желания.

Я вглядывался в экран, но буквы поплыли и исчезли. Что это? Я не сразу понял, что плачу... Такой ясный знак! Такой очевидный и такой счастливо-неожиданный привет!

Но тогда я не подозревал, ещё не знал, что старые формуляры сохраняют все библиотеки мира, все, кроме одной — Публичной библиотеки города Нью-Йорка.

Медаль чемпиона

Моня был чемпионом Нью-Йорка по плаванию среди юношей.

Плавать его научили в Питерской школе Лесгафта лет в десять-одиннадцать. То есть в 1916 или 1917 году, перед самой Революцией.

В школе Лесгафта плавать учили на ковриках, без воды, на счёт: «Раз! Два! Три! Четыре!» Поджать ноги по-лягушачьи, выпрямить, с силой соединить — толчок, одновременно руками гребок — руки вперёд, и секунду отдыхаешь. Раз! Два! Три! Четы-ы-ре. Классический брас.

На коврике и на специальных станках, подвешенными в воздух за грудь, мальчишки учились довольно долго, доводя движения до автоматизма. Раз! Два — три! Четы-ы-ре. Им было сурово запрещено входить в воду. А не входить в воду, когда ты, как говорил папа, «почти умеешь плавать», — потруднее любой муштры! Наконец, курс окончен, и мальчишек выстроили на берегу залива. Плыть вон туда, к буйку, у которого в лодке на волне покачивался учитель. Команда — разом прыгнули в воду. И поплыли! Раз! Два, три, четы-ы-ре!

Вот этот идеальный брас Моня и привёз в Америку.

В четырнадцать лет он был сильным, почти юношей, большим драчуном, о чем я ещё расскажу,

а плавал так, что от школы был сразу поставлен на городские соревнования, хотя учился в Бронксе совсем недолго.

Первое соревнование Моня выиграл триумфально: «Соперники Грефа покинули бассейн!» — сообщил газетный заголовок. Он прыгнул в воду и проплыл дорожку туда и обратно вдвое быстрее остальных, успевших доплыть лишь к тому борту. Соперники просто вышли из бассейна — поднялись и вышли — разворачиваться и плыть не имело смысла!

Но за тем дело не пошло: перед финальным заплывом Моня плотно поел — не с кем было советоваться — и хотя всех обогнал, но блестящего результата не достиг, и сильно тошнило... Моня стал чемпионом Нью-Йорка по плаванию среди юношей 1921 или 1922 года и взял золотую медаль. Он показал выдающееся время и среди женщин был бы рекордсменом США. Какой-то тренер заинтересовался его способностями, но спорт пришлось бросить — надо было работать.

Ибо Моню в скором времени вышибли из школы, не глядя ни на чемпионство, ни на то, что он сделался школьной знаменитостью. Дело в том, что мальчик отказался встать при подъёме американского флага: в школах США каждое утро поднимали флаг. В те дни, в самом начале жизни СССР, случился какой-то громкий скандал между Советской Россией и Соединёнными Штатами, а Моня приехал из России, о чём никогда не забывал, и считал долгом вступить за её честь. И не встал на виду всей школы

при подъёме флага США! Директор вызвал бунтаря и сказал приблизительно так: «Я уважаю твои политические взгляды, но в школе оставить не могу». И в четырнадцать лет Моня начал трудовую деятельность чернорабочим на фабрике роялей.

Отец учил меня плавать. Когда мы жили в Дефановке на Северном Кавказе (от Джубги в горы через перевал) в своём маленьком доме над рекой, отец учил меня плавать по системе Лесгафта. Я должен был лежать на коврике и повторять движения браса: «Раз-два-три-четыре!» Но я был слишком ленив для систематических занятий и, поупражнявшись кое-как, полез в воду. Да и невозможно запретить купаться ребёнку, когда под горой, прямо под домом, протекала речка. Очень милая и мелкая в жаркие дни и свирепо рушившая мосты во время дождя в горах. Калитка наша выходила не просто к речке, а к заводи, большой яме, оставшейся на месте дерева, вырванного и унесённого во время дождей. В жару в эту яму втекали, перекачиваясь через нагретые камни, тёплые струйки, где-то в её глубинах жил рак... В этой яме с утра до ночи плескались мальчишки, раскачивались на ветках, рушились в воду с брызгами, играли в салки, подныривая и пропадая, — все мальчишки нашей станицы, кроме меня. Я закончил третий класс, мне было девять лет, и я не умел плавать.

Отец выходил из калитки, с завистью смотрел на мальчишек и очень за меня переживал. Дело

в том, что я недавно вышел из больницы, где прожил полгода.

В этой-то яме я и научился плавать. Сначала вокруг неё, боясь глубины, а затем уж вдоль и поперёк. И почти не уступал деревенским мальчишкам, которые, играя в салки, выскользывали из рук, исчезая на дне, как крокодилы. Но классическим брасом так и не овладел.

Отец стоял надо мною, когда мы оставались одни, пытался дать советы — но я не слушал, конечно. Он подтрунивал: я мог проплыть двадцать метров вокруг ямы, но три поперёк боялся. И ещё он учил меня нырять, но так и не научил. Жалел.

Сам же он нырял восхитительно: разбегался два-три шага и подпрыгивал вверх, зависая в воздухе с разведёнными руками, вытягивался в струну и без брызг входил в воду. Причём вот так, с разбега, мог нырнуть головой вниз в очень мелкую воду и выскользывал между людьми, стоявшими по пояс, никогда не задевая дна. И проделывал этот трюк в шестьдесят лет.

А теперь вы спросите меня: «Дед, а где же медаль? Та самая, золотая. Где она?» — И меня этот вопрос волновал мальчишкой: где теперь Золотая медаль? Но отец ответить не мог. Утратил в скитаниях. Теперь же я понимаю — он просто её не ценил. Жизнь манила чудесными миражами, и, казалось, где-то там ожидает много медалей и побед...

Чтобы закончить рассказ о плавании, надо бы рассказать о Madison Square Garden, который я так и не нашёл на Madison Avenue. В моём воображении Мэдисон-сквер-гарден был огромным дворцом, в котором пел Шаляпин и одновременно почему-то проводились соревнования по плаванию. Так я помню с самого детства. Но улица Мэдисон авеню, по которой я шёл утром на юг к океану, заканчивалась не дворцом, а небольшим сквером, Мэдисон-парком, в котором белки с облезлыми хвостиками бегали по дорожкам и заглядывали в мусорные баки, прохожие спешили на службу по мокрому асфальту с кофе в руках и садовник большими граблями аккуратно наводил полосы по песку детской площадки. Говорят, дворец Мэдисон-сквер-гарден перенесли куда-то на север города. Но я туда не поехал. Я искал старые деревья и читал таблички на скамейках — в Нью-Йорке многие скамейки отмечены медными табличками с именем попечителя. И как же мне захотелось взять какую-нибудь скамейку этого Мэдисон-скверика под опеку (*там были еще, оставались скамеечки без имен!*) и поставить на ней табличку: «На этом месте в 1921 году один мальчик из России выиграл чемпионат города Нью-Йорка по плаванию».

Я погулял ещё немного по скверу, сделал снимок столетнего дерева и пошёл назад, на север, по 5-й авеню...

Оставайся собой

Моня был драчуном.

Лет в двенадцать-тринадцать, учась в русской гимназии Харбина, он выдумал такую штуку: выскочив в окно и укрывшись зелёным плащом и маской, налетал на ребятню, сея ужас и панику. Школа бурлила, составлялись компании, устраивались засады, в которых, кстати, он горячо участвовал, но... «Зелёную маску» так и не поймали.

Драки в Харбине, судя по рассказам отца и его друга Фёдора, с которым они снова встретились уже под конец жизни, были чуть ли не основным занятием мальчишек. А Моня и Фёдор были, естественно, первыми драчунами Харбина, вернее, его еврейской общины. Во время Гражданской войны, в то время в России шла гражданская война, в Харбине, на Севере Китая, обосновалось три общины: русская, в основном белогвардейская, еврейская, в основном «красная», и китайская. Как пояснял мне дядя Федя, красные дрались с белыми, а упражнялись на китайцах, китайские кули ещё носили косы.

Отец нередко рассказывал мне о драках и особенно о драках американских. Американцы в те времена затевали драку по любому поводу — самый мужской, прямой и очевидный путь решения споров.

Драка начиналась диалогом: «Son of a bitch!» — «Who is the son of a bitch? I am the son of a bitch? Get up, God damn it, I'll show you who is the son of a bitch!» (Я выучил его слово в слово с младых ногтей!) Вслед за перебранкой засучивались рукава, и зрители выстраивались в ринг. И тут происходило нечто практически невозможное в других землях: зрители не просто наблюдали драку, не просто фиксировали победу и поражение, не просто не допустили бы нечестного приёма, но могли остановить бой, если видели явное неравенство сил или даже веса, если кто-то из драчунов в очках, калека и тому подобное. И любой зритель (*внимание!*) мог по желанию заменить одного из дерущихся!

И, надо отдать должное, дрался отец фантастически! Валил с ног одним ударом, это сушая правда. Сегодня на улице так не дерутся — бьют кованым ботинком, стреляют в упор в шею. Но чтобы выйти к противнику без оружия и в честном поединке сбить с ног ударом кулака — такого теперь нет.

Отец вступал в драку, не медля, не рассуждая, как только видел подлость: били женщину, угрожали безоружному или двое против одного. Уже очень пожилым человеком он вдруг приходил домой возбуждённым, помолодевшим, упругим и заявлял: «Я подрался!» — чего никак не следовало ожидать от господина в хорошем пальто, с портфелем, с седыми висками и в шляпе. (*Кстати, и шляпу, и пальто отец носил шикарно, по-американски!*)

Юношеский кодекс чести Моня сохранил до конца дней в основании своей натуры. И пытался научить этим правилам своего сына, то есть меня.

Он говорил мне так: «Мужчина должен уметь встать и стоять там, где поставлен. И должен оставаться собой в любых обстоятельствах, и в драке тоже». «Оставайся собой, Алюха!» — говорил мне отец.

Как все мальчишки, я любил возню и тисканье и даже слыл чемпионом в битвах на подушках, любимом спорте больничных пацанов, но драк не любил. И не дрался. Возможно, я слишком много времени провёл в больницах, и у меня просто не было подходящей компании. Отец тревожился. Он опасался, что, струсив однажды, я не прощу себе этого (*Боже мой! он был уверен, что я, как и он — такой же!*), и старался уберечь меня от позора и муки. Мужчина должен стоять, стоять — и всё!

В Москве мы жили на Октябрьских полях, тогдашней окраине, по соседству с посёлком ВИЭМ, в шаге от сгоревшего теперь клуба «Октябрь». Наш уголок Москвы был отрезан от города железной дорогой и речкой Таракановкой, забранной нынче в трубы. За железнодорожным мостом располагался «Сокол», который дрался с визёмовскими «стенка на стенку». И хотя отец вряд ли желал видеть меня среди шпаны, но его беспокоило, каким чистеньким и послушным я расту. «Умный мальчик!» — говорил

он мне, когда я валялся на диване с книжкой. — Иди, погуляй!» И я тащился в коридор одеваться, а он отворял наружную дверь и, чуть подгакивая между лопаток, распрямлял мою ссутуленную спину: «Без синяка не приходи!»

Я слонялся по тёмным улицам Октябрьских полей, и сейчас пустынным, бывало с другом, но чаще один. Драки не водились на моём пути. «Без синяка не приходи!» — как хорошо мне слышен негодующий шёпот бабушки за дверью... Проболтавшись по улицам, продрогшим я плёлся к дому и, сторбившись, поднимался на площадку второго этажа. Отец выходил на звонок сам, пропускал в дом, и его взгляд я помню всю жизнь. Но ни разу, ни единого разу, никогда он не укорил меня! Он молчал и ждал, когда я повзрослею. А я молчанием его мучился больше всего на свете.

Конечно, как у всех мальчишек случались и у меня драки, и, хотя по большей части приходилось сражаться с несколькими противниками зараз, героем я себя не чувствовал, нет.

Но однажды всё же состоялся у меня бой с самим Хованским! Мы только-только переехали на Октябрьские поля от Поклонной горы: вся наша «бранвахта», где отец ещё до войны служил механиком, переселилась из барака в пятиэтажный дом. Хованский, верзила и второгодник, гроза ВИЭМа, был вдвое крупнее любого из нас и всегда в окружении прихвостней.

В солнечный сентябрьский денёк я вышел на крыльцо школы, неся на груди чистенький пионерский галстук. — Кто это стерпит? И ко мне подкатили тут же, на крыльце. Драка прославила моё имя на всю школу, даже в учительской, ибо с Хованским никто не дрался. В общем-то, и мне следовало сбежать, но я не смог. «Оставайся собой!» — говорил отец.

И с тех пор меня частенько подстерегали у школы или по дороге к дому, и я вынужден был пробиваться сквозь строй.

А месяца через два Хованский появился у нас в доме и оказался худым испуганным парнишкой, не огромным, не страшным. Мой папа, став председателем школьного комитета родителей, возился со всей малолетней шпаной района, пытаясь устроить их судьбы.

Но, кроме того, не вмешиваясь, никогда и никого не расспрашивая о наших драках, ни разу даже не упомянув о них, отец защитил меня именно так: взвалив на себя опеку этих в общем-то брошенных и не очень счастливых детей.

Удивительно, но современные американцы, кажется, забыли о тогдашних правилах драк, да и самой возможности решить спор таким порядком, не обращаясь в полицию, похоже, не допускают.

В Нью-Йорке знакомые просили рассказать меня об отце, и более всех историй их поразил рассказ о драках и законах драки.

Знакомые изумлялись! — Ведь сейчас любому американцу, даже младшему школьнику, известно, что по каждому поводу должно сразу жаловаться властям: учителю, супервайзеру, полицейскому. Но самому, но руками? — Боже упаси! Ну и так далее и тому подобное...

А меня учили правилам чести. Не знаю... Я старался.

Один длинный. Один короткий

Старинный паровоз сегодня увидеть можно только в немых кинолентах, в которых кавалеры с тросточками подсаживают на ступеньку вагона дам в шляпках с перьями, чинно подбирающих юбки. В этих фильмах налитые важностью кондукторы зорко следят за порядком вдоль состава, но всегда упускают главное: «Ту-у-у-у. Ту!» — из-под колёс вдруг бьёт пар, ошпаривая пассажиров, пространство застилает белое облако, и то, что было самой благопристойностью, превращается на несколько мгновений в хаос.

Именно эти золотые мгновения использовали бродяги, чтобы проникнуть в поезд. Конечно, в вагон мимо кондуктора не проскочишь, но можно было залечь на крыше или скользнуть в подвагонный ящик.

Под вагонами в старину имелись ящики для вспомогательных грузов, размерами как раз для свернувшегося калачиком человека. Проникнув в ящик, можно было с комфортом доехать до следующей станции. Правда, путешествия в таком «купе» требовали отчаянной сноровки, ведь нужно не только скользнуть в клубах пара между начавшими движение колёсами, но ещё и покинуть ящик за мгновение до остановки, когда поезд, тормозя у перрона,

окутывался облаком. Ибо на каждой станции обходчики простукивали колёса поезда, на слух определяя исправность, и проверяли ящики на предмет бесплатных пассажиров. Замешкался — попался, поспешил — угодил под колесо.

Моня проделывал этот трюк неоднократно и пересёк континент Северной Америки от Атлантического до Тихого океана дважды. Он был рожден путешествовать и говорил о себе: «Люди происходят от оседлых, либо кочевых племён. Я — из кочевников». И до старости утверждал, что только в бегущем вагоне ему спится вполне счастливо.

По Америке он передвигался в особой униформе бродяг тех лет: широкие штаны, распущенные бахромой понизу, у пояса консервная банка, чистая рубашка. Именно так — рубашка должна быть чистой, свидетельствуя о том, что ты не пропащий, отпетый тип, но с тобой можно иметь дело: впустить в дом, подвезти, дать работу. Штаны, по правилам бродяг, «бахромелись» специально, они обеспечивали комфорт и свободу поведения в любой ситуации, оставляя возможность расположиться где угодно, не думая. А вот для чего нужна консервная банка? По мне, для форсу. Но отец, впрочем, утверждал, что она удобна.

Иногда на поезд можно было вскочить на ходу: на подъёме или повороте, когда состав притормаживал, а последние вагоны исчезали на миг из поля зрения машиниста. Тонкий расчёт и ловкость! Вообще, вскочить на подножку и спрыгнуть на ходу

из вагона или грузовика Моня умел очень лихо, я свидетель, но тут ещё фронтальная выучка. Впрочем, он замечал, что в начале двадцатого века поезда были устроены более человеколюбиво.

Моня пересёк, наверное, все сорок восемь Североамериканских Соединённых штатов: валил деревья в горах Калифорнии, прошёл под Ниагарским водопадом по мокрым мосткам, в прериях Техаса был разбужен маленьким кактусом, проросшим за ночь.

Он был прирождённым бродягой, за день мог удовлетвориться парой галет, которые всегда таскал в кармане. Утверждал, что с собою нужно иметь всё, до иголки, но багажу следует быть небольшим. Готовясь в дорогу, сбрасывал в угол подряд всё, что могло пригодиться, а затем не раз и не два перебирал и сохранял действительно нужное, упаковывая укладистую нетяжёлую торбу. У меня есть удивительное свидетельство: уже здесь, в Советском Союзе, путешествуя со старшим сыном по Крыму, отец взял на двоих фотоаппарат и небольшой рукав-муфту для заправки кассет фотоплёнкой. Все личные вещи — смена белья, зубные щётки и др. — хранились в этой муфте. Так налегке, имея в руках только маленький мешочек, они и пересекли вдвоём Крымский полуостров.

В путешествиях Моня узнал, что в дороге деньги важнее вещей, а еду в пути всегда можно заработать:

работу кормёжкой оплачивают охотнее, чем монетой. И неременное условие долгого пути — «НЗ», неприкосновенный запас, без него в путь отправляться и не думай. Однажды в каком-то западном штате ему поставили выбор — штраф или тюрьма (что-то он там нарушил), и знающие люди советовали откупиться, как бы ни жалел последних денег: в тюрьму сесть легко, выйти трудно — можно пропасть.

Но главное умение, необходимое в дороге, главное всё же — умение разговаривать с людьми! Люди поймут и выручат. Редко бывает, чтобы человек бросил человека, умея помочь. Бывает, конечно, но редко. И так везде, в любой земле. Люди помогут, нужно разговаривать.

Однажды мы с отцом пошли в поход. Встали на лыжи в зимние мои каникулы, кажется, я заканчивал десятый класс, и отправились по Подмосквовью без предварительного маршрута: так, куда-то к Оке. Ночевали в деревнях, заваленных снегом по крыши, просто стуча в темноте в окошки, такие светлые, такие тёплые в ночном морозе! Просто стучали и просили ночлега. И разговаривали с людьми. Я видел, что людям с отцом всегда удобно и интересно и они охотно делились пищей и теплом. Покидая ночлег, отец, если видел нужду в деньгах, платил или находил другой пристойный способ благодарности: оставлял адрес, приглашал к себе, фотографировал, высылаал

потом фотографии. То был единственный наш лыжный поход, мы просто шли и говорили с людьми...

Паровозный пар, бьющий из-под колеса, я воображал с детства и почему-то именно в компании Макса Линдера... И ещё, странно, но отец никогда не рассказывал о стычках у вагонного ящика — на выяснения прав между колёсами отводились доли секунды. И не рассказал, зачем всё-таки нужна консервная банка у пояса. И не научил меня вскакивать на ходу на подножку вагона... Но вот чему научил — не бояться дороги. И наслаждаться бегущим навстречу пространством. «Мы ведь с тобой из кочевников!»

Мы закончили поход броском в Алексин по льду Оки. Продрогшими зашли в привокзальную столовую: над головой копоть комбиджера и дым папирос висели так низко, что хотелось пригнуться, из стаканчиков с горчицей торчали омерзительно грязные палочки эскимо. Мы сели. Отец грустно посмотрел на загаженный горчицей стакан и сказал: «Знаешь, Алюха, в Америке в столовых вместо горчицы на столы ставят кетчуп». Но тогда я не знал ещё, что такое «кетчуп».

Юнайтед Фрут компани

Бесконечная вереница грузчиков под страшными мешками на фоне белого океанского лайнера: «Юнайтед фрут компани — спрут, опутавший Южную Америку». Так в моём школьном учебнике.

И представьте себе: где-то в южном порту, может быть, в Сан-Франциско или Новом Орлеане бегал по трапам с мешками из Вест-Индии наш Моня — грузчик империи United Fruit Company.

В работе грузчика главное — не сила, а владение телом. За первым мешком пойдёт второй, третий, сотый, и мышцы должны работать точно, иначе сломаешься.

Грузчик — артельная профессия: тяжесть следует подать и принять. Обычный мешок — четыре-пять пудов, то есть килограммов шестьдесят-восемьдесят, и когда работник берёт такой вес, ему помогают и взять груз, и уложить в штабель, который бывает много выше человека. И тут важно, приняла ли тебя артель, товарищ ли ты? А не товарищ — уберут из ватаги в два счёта, просто подавая и снимая тяжесть «не с руки», а то и «с натягом», чуть придавив в момент касания, и страшным, но незаметным ударом, выведут из строя надолго, если не навсегда.

«Юнайтед фрут компани» славилась своей потогонной системой — фрукты упаковывались в коробки приблизительно по пятнадцать килограмм, и каждую ты брал в одиночку, переносил с корабля по нескончаемым трапам и аккуратно укладывал в новый бунт. Коробочки с бананами выжимали из человека соки, болело всё, и ночью Моня не отдыхал, а проваливался в кошмар, карабкаясь с грузом на бесконечные штабеля... А ведь после неподъёмных мешков засыпал счастливым!

Фрукты от «Юнайтед фрут компани» при перегрузке сразу сортировались: спелые везти поближе, крепкие — подальше, так что расцечь засапожным ножом гавайский ананас сам Бог велел — мог ведь и не доехать. Но кроме того, у фирм всего мира заложен в перевозку «процент утруски и усушки» — естественной убыли при транспортировке. И этот процент тем более был добычей артели! «Случайно» зацепить за гвоздь мешок отборнейшего миндаля — удовольствие. А миндаль такой, что в скорлупе свободно пряталась корабельная мышь.

Однажды портовые грузчики сунули в миндалину мышонка и угостили орешком парня, чем-то не угостившего. — Что было? Гонялся с ножом за обидчиками, еле уняли...

Ещё американские грузчики придумали специальный крюк, вроде нашей «фомки», но с длинной ручкой. Этим крюком очень удобно ворочать ящики

даже в полтыщи фунтов. Фокус простой: подцепив, приподняв ящик на ребро, уменьшаешь площадь трения — Моня, когда уже закончил механический факультет Индустриального института, мог всё объяснить. Однако грузчики теоретической механики не изучали, но знали горбом: кантовать легче, чем тащить.

Отец всю жизнь гордился тем, что первый профсоюзный билет получил в артели сибирских грузчиков. Кстати, американского крюка сибирские грузчики не знали, более, видно, надеясь на мышцы, и Моня, тогда уже Миша, ставил себе в заслугу обучение новых товарищей этой профессиональной уловке.

Правда, и омские грузчики не остались в долгу. Как в любой ватаге, у сибиряков был свой порядок испытания профпригодности: новичка укладывали лицом в землю, а шею придавливали мешком муки, и человек должен был подняться на ноги с мешком, не касаясь земли руками. — Представили? Отец говорил: главное — вывернуться под грузом и сесть. Моня обряд инициации прошёл, встал, не посрамил грузчиков Сан-Франциско, но впоследствии узнал, что трюк с мешком в его артели, кроме него, могли проделать лишь двое.

До старости отец любил тяжёлую работу и с удовольствием в одиночку расставлял мебель

в чьей-нибудь квартире с тогдашними стопудовыми диванами и дубовыми шкапами. Потихонечку, подсунув ремень под ножку, приподнимал углы, подкладывал дощечки для скольжения и, накинув ремень на плечо, чуть-чуть оторвав от земли угол, без надрыва передвигал любой груз.

А на фронте однажды случилось так. Из США по ленд-лизу прибыли запчасти к американской технике. Ремонт в боевых условиях — жизненная задача, без него — «труба», но специалистов, знающих английский, в штабе Литовской стрелковой дивизии не было никого, кроме отца, старшины службы войскового техснабжения (*между прочим, должность майорская!*).

Старшина получил приказ составить опись деталей, ящики с которыми заполняли два вагона, а для разгрузки ему придали отделение солдат. Но старшина отказался от людей и, заказав какой-то крюк в дивизионной кузне, остался на ночь с вагонами один на один.

К утру ящики с железом полутонные и крошечные стояли на траве по номерам с приложением описи, составленной бисерным отцовским почерком. Не знаю, как вам, но по мне, это подвиг.

Всю жизнь пытаюсь тянуться за отцом, я старался отыскать в себе его свойства. Например, я люблю перетаскивать тяжести и студентом в одиночку носил

сорокалитровую флягу с молоком от фермы три версты по сибирской степи без остановки, перекатывая вес с плеча на плечо. И ни один силач нашего студенческого отряда не мог проделать того же.

А о нынешних грузчиках Америки скажу лишь следующее: в Бостоне случилась нужда погрузиться в автобус с чемоданом более чем в тридцать килограмм, и мне объяснили, что грузчики не притронутся к нему, он для них слишком тяжёл — профсоюз запрещает.

Банановые острова

Моня рассказывал о Гавайских островах.

Выходило, что он прожил там несколько дней и питался исключительно бананами. Бананы вырастали на Гавайях длиной до полуметра, а ананасы — с ведро объёмом.

На Гавайских островах жили прекрасные темнокожие девушки в коротеньких цветных юбочках, которые играли на маленьких гавайских гитарах, положив их на колени. Отец до конца жизни обожал гавайскую гитару, ловко имитировал её, скользя расчёской по струнам: «Та-у-у, та-у-у, тын-н-нь!» — очень музыкально!

Ещё на Гавайях стоят вулканы, зимою покрытые снегом (*Господи, какая зима на Гавайях?*), и ветер у вершин такой силы, что добравшийся туда человек надолго остаётся пригвождённым к оградительной сетке.

И ещё на Гавайях всегда тепло и тёплое голубое море.

В моём магаданском детстве бананов не существовало. Знал я китайские яблоки, ароматные, твёрдые, зелёные, зарытые в опилки, знал мандарины с дольками всегда холодными, апельсины, кожура которых, если сдавить, давала фонтанчик сока, искрившего

на свече. Бывало, грыз я сырую картошку — не от голода, а так, хотелось, отчего мама плакала. Иногда с Большой земли привозили консервы с кружочками ананасов... Но бананы у нас не водились.

В январе 1957 года мы покидали с отцом Колыму навсегда. Маме нужно было доработать «до стажа», и она оставалась в Магадане. Мы летели на Большую землю на «Иле-12» вдвоём сначала из Магадана в Хабаровск, а оттуда дальше на «Большую землю», прыжками по два часа: прыжок — посадка, прыжок — посадка... Каждые два часа при взлёте и посадке меня выворачивало наизнанку. Я учился в первом классе, имея за плечами чуть больше восьми лет.

Бананов я никогда не видел, но я их сразу узнал: бананы стояли в буфете Хабаровского аэропорта, ярко-зелёные, похожие на обойму нестрелянных гильз. «Папа, купи! — Ты не будешь есть. — Купи! — Они незрелые, в Москве купим. — Купи!» И он купил. Мы были в начале пути, он знал, что меня ждёт в эти сутки.

На вкус похуже сырой картошки, а главное, шкурку приходилось состругивать ножом. Уплаченные бешеные деньги, и нельзя ни есть, ни выбросить, ни везти с собой!

Отец присел рядом, расстегнул своё кожаное красивое пальто, надкусил скрипнувшую дольку и прикрыл глаза. Наверное, ему невкусно — я видел, как ходят желваки, он сердится на меня, но я ведь

не виноват, что бананы — такая гадость! Мне было жаль его. И только теперь, надеюсь так, я понимаю, догадываюсь, что его печалило: он думал, я не поверил ему, не поверил, что в мире, кроме серого холодного неба и ледяного моря, в котором мальчику нельзя даже замочить ног, существует сладостный, тёплый, вольный ветер банановых островов!

Позднее, конечно, и я получил свои бананы, ел и не мог наестся. И как-то, когда я отламывал от обоймы одну многосеменную ягоду за другой и сдирал кожуру, задыхаясь от жадности, отец грустно произнёс: «Однажды на Гавайях я остался без единственного цента и трое суток жевал только бананы, они там везде. Но мечтал лишь о хлебе...»

Кстати, нью-йоркские шалопаи век назад забавлялись, подбрасывая банановую кожуру прохожим под ноги. Мне, советскому пионеру, такое отношение даже к шкурке банана казалось кощунственным — я не верил! Но как-то в «Технике молодёжи» вычитал: полиция города Нью-Йорка применила против демонстрантов-рабочих новое средство — «банановую кожуру» — скользкое мыло, которое полиция проливали на асфальт в толпе.

Juicy Fruit

Одной из диковин, поразивших Моню в Америке, был chewing-gum — жевательная резинка. Все в Америке жевали, и это считалось приличным, в отличие от Петербурга, где жевать на людях считалось неприличным. Из всех чудесных реклам Америки чуинг-гам имел самую роскошную: разноцветные огоньки сплетались в пляшущих человечков на огромных стенах нью-йоркских домов.

Электрическая движущаяся реклама, сияющие светом вечерние улицы, вертикальные дома Манхэттена — всё, всё произвело ошеломляющее впечатление на мальчика, приехавшего из провинциального Харбина. Полный сил и любопытства, он влюбился в эту новую жизнь. И чуинг-гам был таким же её элементом, как небоскрёбы, бейсбол, пинат-батер и поп-корн на завтрак, ломтик грейпфрута перед обедом.

Вообще-то, жуют во всём мире — в Сибири, например, жуют варёную смолу кедра (*кстати, неплохая вещь*), а китайцы жуют орешки бинлана. Но в Америке жевали с каким-то особым шиком и, можно сказать, фанатизмом. Да и сама американская резинка была чем-то совершенно замечательным! И не вкусом, хоть и великолепным, не гипнотическим ароматом, а волшебной способностью

вытягиваться в нити, которые можно снова заплести на язык и снова жевать!

Бахромой тончайших каучуковых нитей были затканы снизу все столешницы публичных столовок Америки, отчего все столовки Америки походили на стаи медуз...

Небольшой отряд копьеносцев пылил по дороге к станции «Томилино», где стоял наш туберкулёзный санаторий. Второклассники бодро шагали по грунтовке от ткацкой фабрики, на которой обнаружили помойку с картонными основаниями нитяных катушек, пригодными для составления копий, — важнейшие минуты экскурсии!

К нашей колонне нервно подкатила директорская «Волга»: «Где Греф? К нему из Америки тётя приехала!» — небольшая паника, и меня, выхватив из строя, втиснули в бежевое мягкое нутро. Ехать в директорской «Волге», утонув в кожаных сиденьях, — мечта каждого октябрёнка, но страшно.

Ворота, аллея, синяя дачка директора. Первой я увидел тётю Фаню, которой до того дня не видел даже на фотографиях, потом увидел директора, потом папу. Директор пребывал в неловкости.

А вы знаете, каков человек директор детского санатория в Томилино? Бритоголов, плотен и страшен, он приезжал и уезжал на «Волге» через огромные ворота с колючей проволокой, а по утрам обходил палаты. — «Ну что, обдудонился?» — Встать

не позволялось, и штрафник лежал на мокрой простыне в назидание всем мальчикам и девочкам — да, да, девочкам! — нашего деревянного корпуса! (*Однажды и я попался. Прости ему, Господи!*) Ходили слухи, что ночами директор с овчаркой стерёт яблоны! Правда, как выяснилось, чтобы раздать нам же в конце лета, но всё одно: мы боялись директора и вредили ему, как умели.

И вот страшного директора смутила моя тётя, маленькая, весёлая и в кудряшках. Не знаю, чем, но она так выделялась, будто занимала всю комнату, даже отца я не сразу заметил, и вовсе не из-за его новой куртки. Оба они были другими, не как все прочие, кого я повидал от Охотского моря до Днестра за девять лет своей жизни. Они были веселы и свободны. И теперь, стариком, я вдруг догадался, что, возможно, единственным в этой половине Света, видел отца таким, каким он был тогда, мальчишкой в Америке.

Тётя привезла мне набор настоящих инструментов: пилочку, кусачки, молоточек, даже маленькую механическую дрель — видно, очень дорогой набор в прекрасном ящичке, и пачку чуинг-гама. Даже не пачку, а магазинную упаковку, может быть, из тысячи пластинок!

Моя душа, мой мозг, мои представления о мироустройстве не вынесли такого богатства! Я одурел, просто сбрендил. Вместо того чтобы раздать, раздарить,

разугощать эту жвачку, я её спрятал. Даже друзьям я выделял лишь по половине пластинки, сам жевал редко и по несколько раз одну и ту же резинку. А главное, мысль о сокровище поглощала меня больше и больше. Передо мною начали заискивать, мне сулили какие-то невиданные коммерческие сделки, богатство плыло в руки... И отец забрал у меня всю пачку разом. Не помню даже, оставил ли что на «пожевать».

Заглядывая в американские магазинчики я пытался отыскать для внуков чуинг-гам, так поразивший меня в детстве. Не помня ни названия, ни фирмы, а только чудный запах и неповторимый жёлтый цвет упаковки, я совался во все лавчонки, попадавшиеся на пути, и не находил нужного, не узнавал того, что искал. Поверьте, то было сильным потрясением! В Нью-Йорке имелось всё, что угодно, кроме жвачки в жёлтой упаковке. И вот, вернувшись в Россию, я догадался наконец поискать в Интернете и увидел картинку той самой удивительной пачки «Wrigley's Juicy Fruit». Из описания я узнал, что «Juicy Fruit» — не только самая знаменитая жвачка Америки, но одна из первых, что запах, заморозивший меня в детстве, — запах лакрицы (которую я, впрочем, никогда не видел) и что упаковка в двадцать первом веке была изменена для приумножения коммерческой привлекательности.

Какое счастье! Какое всё-таки счастье, что американцы так бережно сохраняют свои жвачки, джинсы, Кадиллаки и стейки! Благодаря их любви к деталям мой внук получил всё же представление о том, что доставляло такую чистую радость пятьдесят лет назад мне, его деду, и почти сто лет назад Моне.

И вот странность! Оказывается нынешние американцы резинку практически не жуют. Того характерного, несколько презрительного движения челюстей, которое я наблюдал в фильмах, особенно наших об их жизни, я в Америке не заметил. Не жуют американцы чуинг-гам! За исключением, разве что, чуть ленивых от сознания собственной мощи, наблюдающих мировой порядок из-под лакированного козырька нью-йоркских полицейских.

Кольцевая печь Чикаго

Однажды где-то в бескрайних степях Юга Моня нанялся к фермеру отстрелять ворон, стаи которых сильно вредили посевам.

Работа казалась лёгкой, а вознаграждение царским — пять долларов за ворону. А доллар сто лет назад был Долларом! Моня получил у фермера ружьё и ушёл в поле. Ни одной вороны! То есть они были там, вдалеке, но, видя человека с ружьём, снимались с поля всем кагалом. Моня оставил ружьё — вороны подпустили ближе, поднял палку — отлетели подальше. Моня спрятал ружьё под макинтош и осторожно двинулся к птицам: вороны вразвалочку разгуливали вдоль пашни, с интересом поглядывая на чучело в непомерном плаще. Он даже не успел выхватить винчестер — чёрная стая с бранью рассыпалась над ним в воздухе. Фермер знал, за что платил! Чего бы Моня ни затевал: стоял пугалом, ладил засаду с приманкой, ползал между кочек — вороны заранее знали все его хитрости и кружили над охотником с «сарр-казмом». Кстати, огородное чучело как таковое не пугало ворон, они преспокойно разгуливали у ног поддельного человека. Ни цента не заработал Моня у фермера и навсегда сохранил уважение к этим выдающимся птицам.

Как-то Моня подрядился коммивояжёром в фармацевтическую фирму и получил докторский саквояж с набором образцов. Заработок разъездного агента складывается из комиссионных от сделок и личной изворотливости при продаже малых партий изделий фирмы. Однако на первом же шагу случился оглушительный афронт. Моня нарвался на сквалыгу, который переиграл его вчистую: перекупщик так свирепо торговался за каждый цент, что юный коммерсант в бешенстве запустил ему в голову пузырьёк с лекарством! Стопроцентный американец поднял снадобье и спокойно спрятал в стол. Моня метнул другой упаковкой — барыга поднял и её. Третьей, четвёртой... Раскрыв саквояж, Моня швырял пакеты один за другим, наблюдая, как они исчезают в столе, и хлопнул дверью униженный и злой. Торговля явно не была его коньком. У него, чистокровного иудея, коммерческая счётка отсутствовала начисто.

В голодные дни в толпе безработных Моня стоял у кованых ворот хлебного завода в Чикаго. Ворота двинулись, сплочённая масса шатнулась навстречу подрядчику, и Моня понял, что шансов получить работу нет. Он дождался подрядчика вечером, шагнул и сказал: «Мне эта работа очень нужна!» Оценив парня взглядом, мастер ответил: «Приходи завтра, но не к воротам». Моню поставили к огромной кольцевой печи, выпекавшей хлеб.

Печь медленно поворачивалась вертикальным колесом, чем-то схожим с колесом обозрения

в преисподней, и нужно было, нырнув в пекло, зацепить крюком и вытащить поддон с огнедышащим хлебом. На всё отводились секунды. Затем следующий поддон, и снова ныряй в пекло. Вот и вся работа. Прوماхнуться нельзя: за тобой напарник с новым поддоном, заполненным новым сырым хлебом. И страшная печь неотвратима, как Молох.

Моня понадеялся на себя и напрасно. Он не вынес монотонности и жара и не проработал там и дня: раз за разом забрасывал крюк и промахивался — казалось, волосы вспыхнут на голове. Наконец зацепил, рванул и вывалил на себя раскалённые формы.

Самая жуткая работа, о которой вспоминал Моня, — китайская прачечная: пар, жара, полуголые китайцы, духота страшная, как в аду, и нечеловеческой тяжести уютю.

А бывала служба как в сказочном эдеме. Например, лесорубом в Калифорнии, в горах Сьерра-Невады. Валили секвойю — на солнечной полянке трудились до обеда, а потом нежились на берегу горной речки. Еды — «от пуза», и яичницу стряпали себе хоть из дюжины яиц. Моня наслаждался жизнью, трудился вполсилы и был уверен, что через неделю его просто вышибут. Но супервайзер, раз в неделю поднимающийся в горы, остался работой доволен. Парень был просто-напросто молод и крепок! Кончился курорт аварией: Моне стволем дерева

придавило руку, и, поскольку медицинской помощи не полагалось, ему часа два пришлось спускаться в посёлок, оставляя на склоне кровавые капельки. До конца дней у отца болели кисть и локоть левой руки, ограничивая движения.

Отец знал все рабочие профессии: мог встать у любого станка, мог сварщиком, мог землекопом, умел скакать верхом, управлять автомобилем и экскаватором. В Америке он усвоил два закона: никакая работа не может унижить, и второй закон — хлеб надо зарабатывать! Этим правилам он учил и меня. Но я учиться не желал в ожидании обещанного по радио коммунизма.

У нас в аквариуме жила неоновая стайка гуппи, рыбки питались циклопами, циклопы покупались на Птичьем рынке. Папа предложил мне ловить циклопов в Таракановке самому и обещал платить те же 15 копеек за банку. Сознание советского пионера воспротивилось этой сделке: во-первых, трудиться не просто так, а для продажи — нехорошо, во-вторых, продавать что-то родителям — совсем гадко, а в-третьих, и, боюсь, главное — выпросить у отца я мог намного больше.

Отец пытался понудить меня сдавать яблоки-падалицу в нашей Дефановке, законный заработок всех мальчишек станицы — тцетно. Собирать яблоки в мешок, тащить его на велосипеде по горной тропе

на весы, получить 15 копеек — нет, не для меня. Тогда он отдал сына в сельхозбригаду пропалывать грядки кукурузы — я чуть не умер под тяпкой. *(Хотя имею оправдание: грядки километрами тянулись в горных ущельях, а я был всего лишь московским семиклассником.)* Но всё же он нашёл для меня занятие: отдал в мальчишескую артель на целый месяц сколачивать ящики для совхозных фруктов и овощей. И там, между прочим, я научился недурно стучать молотком. *(Досочки сбивали гвоздями и, перевернув, гвозди загибали — три удара на гвоздь с одной стороны, два с другой — долго! Так вот, мы, мальчишки, первым ударом гвоздь забивали, а вторым загибали — два удара на гвоздь. Самые ловкие тратили на гвоздь единственный удар молотка: гвоздь загибался о металлическую пластинку, подложенную под доски.)*

Торговать отец не научился до конца дней. На базаре в разрушенном войной городке он объяснил вдове, что курительная трубка, ею предложенная, стоит дороже, и купил эту трубку по своей цене. Ладно, то вдова. А как он продавал свой любимый «Москвич-400!» — Мужик рта не успел раскрыть, как услышал: «Машину я купил за двенадцать тысяч, наездил на ней пятнадцать тысяч, тебе продам за восемь». К вечеру появился покупатель, который предложил вдвое от назначенной цены, отец огорчился, но слова не нарушил.

Есть ещё одна, любимая нашей семьёй история. В Дефановке случился урожай яблок и винограда, решили отвезти в Москву и продать. Даже не говорю о трудах и тратах: собрать урожай, упаковать, перевезти, таскать все эти тяжести. Скажу о результате.

Сентябрьским днём у Пятницкого колхозного рынка в Москве из такси вышел господин в иностранном пальто, в шляпе и с трубкой. Господин обратился к тётке, крутившейся у ворот, с вопросом: где регистрируется продажа яблок? Тётка попросила господина подождать, исчезла и вернулась с милиционером. Не в первый раз в Отечестве отца принимали если не за шпиона, то за иностранца. А зачем иностранцу колхозный рынок? Ясно — провокация! Слава Богу, что папа был советским человеком и потому носил с собою все возможные справки: на дом, на сад, на урожай, на транспорт. Отец расвирепел, некрасиво обозвал тётку, пошвырял ящики в такси и отвёз домой.

Недели две мы спотыкались о яблоки, которые раздавали авоськами друзьям, друзьям друзей, лечащим врачам бабушки, соседям — невезучие яблоки быстро портились.

Из винограда, который остался после раздач, решили сделать вино. Ягоды давили в тазу в комнате нашей коммунальной квартиры, стесняясь выйти на кухню, фильтровали через марлю, разливали по трёхлитровым банкам. В нашей непьющей семье до того дня не гнали ни самогона, ни вина, и оно,

чувствуя это, взрывало банки, растекаясь жижей по паркетному полу. Кончилось предприятие тем, что из нескольких ящиков великолепной изабеллы получили литров шесть янтарного пахучего уксуса. Который, извините, благополучно вылили в унитаз.

Как-то поздним вечером, вернувшись со свидания, я наткнулся на покалеченный стул, который мама давно уже просила склеить. Мы жили вдвоём, отец умер, и мы только-только начали возвращаться к жизни сами. Стул ждал ремонта год или два. Я посмотрел на него и решил починить. Выдвинул инструменты, сварил клей, постелил газету и начал мастерить, совсем забыв о ночном времени.

Мама вышла из своей комнаты и тихо остановилась в дверях, наблюдая. «Боже мой! — вдруг сказала она, — Боже мой! Как ты похож на папу!..»

На заре автомобильной эры

Из Невады добраться к Океану можно, только перевалив через горы. В заштатном Рино за столиком придорожной закусочной сидел об эту пору лишь один старик со стаканом дешёвого виски. — «Тебе надо в Сан-Франциско? Go!»

Старенький «Паккард», набирая скорость, поднимался к перевалу. Моня прижался к сидению. Старик, при поворотах дороги возникавший в лунном свете и снова исчезающий в темноте, ухмыльнулся: «Боишься? Я здесь двадцать лет и знаю каждый камень». Он заложил вираж, выжал газ и закрыл глаза. Стало жутко. Моня стиснул зубы и тоже закрыл глаза. По горам Сьерра-Невады, под луною, в сторону Калифорнии мчался автомобиль с двумя слепыми седоками — мальчиком и стариком...

Отец любил автомобили и был неплохим шофёром — довольно редкое умение для молодого человека в 1928 году в Советской России. Но своего автомобиля у папы не было до лета 1953 года, в которое посчастливилось приобрести «Москвич-400» — чудесный маленький «Опель» — в самом начале длинного магаданского отпуска. На Колыме отпуск давали в три года раз, но на несколько месяцев.

Я хорошо помню эту машину, помню, как она мчалась сорок километров в час по Симферопольскому

шоссе к морю и начинала дребезжать при шестидесяти... Помню, как вышли из неё полюбоваться Ай-Петри в лучах заката... Помню раскрашенных гипсовых орлов, стерегущих виражи курортного Кавказа, которых разглядывал снизу, в окошко автомобиля... Помню наш серенький «Москвич» беззащитным, в толстых канатах, поднятым для погрузки на лайнер «Россия», и молдаванскую деревню с огромной тёплой лужей посередине, по которой мы, мелюзга, бродили босиком, наслаждаясь нежной грязью, отца, в подвёрнутых штанах бродившего с нами, и наш «Москвич», заваленный снедью от Тираспольского базара...

Отец хорошо владел «драйвингом», то есть собственно техникой вождения, но расхотелся во взглядах на «драйвинг» с ГАИ. Или скорее так: гаишники, изучившие человечество профессионально, папу просто вычислили и, как он выражался, «передавали по эстафете», штрафую на каждом посту, зная, что он исправно носит в нагрудном кармане пачечку рублёвых купюр.

Автомобиля в нашей семье больше не было никогда. Почему маленький «Москвич» продали по окончании отпуска? Должно быть, деньги нужны были, да и хранить машину годами до возвращения на Большую землю негде. И ещё мечталось, видите ли, верилось: жизнь наконец налаживается, и машин, ну конечно же, будет больше и больше, и, как говорил папа, «они будут совсем другими»!..

Отец обожал попутчиков, выбирал их, выискивал на дороге, подвозил, куда просили, и платы не брал. *(Вижу, как он покачал головой, когда я выудил двухгривенный, запряганный старенькой пассажиркой в складку сиденья.)* И, конечно, делился бензином на дороге, как и положено фронтовику. Всего этого нет среди водителей нынче. Вывелось...

Случилось так, что по Америке я странствовал, обременённый обязательствами и багажом, который создавал сложности не только мне... И простодушные американцы намекали, что простейшим способом решения проблемы будет «драйвинг» — мне нужно взять машину в аренду и сесть за руль. Ну что было отвечать? — И я говорил: «Вы удивитесь, но я не умею водить автомобиль».

В советские времена я даже не мечтал об автомобиле, а сейчас — не хочу.

Как-то мы втроём с женой и маленькой дочкой вышли из леса к дороге, убегая от грозы. Мы плохо подготовились к прогулке и на троих имели одну куртку. Начался дождь, за ним ливень. Мимо проезжали авто одно за другим, спеша окончить воскresенье дома. Мы телами пытались как-то защитить крошечную девочку и тянули руки к каждой проходящей машине. Но ни одна не притормозила, ни одна! И я не мог ничего поделать. Я стоял у дороги и думал об отце...

Бурлюк, Шаляпин, Маяковский

К Давиду Давидовичу Бурлюку в русский эмигрантский журнал Монея принёс стихи.

Давид Давидович в своё время написал:

Каждый молод, молод, молод!
В животе ужасный голод!

И далее:

Будем лопать камни, травы,
 сладость, горечь и отравы,
Будем лопать высоту,
 глубину и пустоту!..

И ещё написал:

Он любил ужасно му-у-ух
 у которых жирный за-а-ад!
И об этом часто вслу-у-ух
 пел с друзьями наугад!

(Цитирую по памяти намеренно.)

Именно Давид Давидович и был футуристом, а Маяковский так, примкнувшим. Это потом сделалось наоборот, а вначале так. Стихи Маяковского, Бурлюка, Мережковского, Соллогуба и других

знаменитых поэтов Моня выучил мальчиком ещё в революционном Питере и теперь к Бурлюку Моня принёс свои стихи.

И горжусь я,
 что в схватке борьбы
 есть кусочек борьбы моей тоже!
Я век себе не простил бы,
 если б родился
 на полвека позже!

Рубленная строка, аллитерация на «б» и всё такое. Бурлюк стихи опубликовал с предисловием: «Стихи молодого дилетанта, воспринявшего новый стиль.» (*За «дилетанта» я хотел было обидеться на Бурлюка, но папа не обижался.*)

Маяковский Владимир Владимирович посетил САСШ, как вы помните, в 1925 году. В Нью-Йорке Маяковский выступал в огромном зале Мэдисон-сквер-гарден, был язвительен, остёр, издевался над дырочкой в занавесе — глазком для импресарио провинциального театра, дрожащего над полнотой сборов. Тетрадочку стихов от Мони принял с усмешкой, но своё читал, как всегда, гениально.

Всё там же, в Мэдисон-сквер-гарден, Моня видел и Фёдора Ивановича Шаляпина. Не имея денег на билет, Моня проник в здание через окно по очень

удобной пожарной лестнице, почему-то плохо охраняемой. В России такого не сделать, у нас пожарные лестницы расположены неуклюже, проржавлены и ненадёжны, но в Нью-Йорке, напротив, каждый этаж обеспечен наружной площадкой, и пройти в здание можно, не помяв выходного костюма. Моня намеревался пробраться в ложу Рокфеллеров, вообразив себе, что она, конечно, пустует и что там его никто не посмеет тронуть, и, как ни странно, не ошибся. Давали «Бориса Годунова». Поплутав в потёмках между стенами уходящей ввысь чёрной ткани, Моня нос к носу столкнулся с... Царём Борисом! Царь наклонился, приблизил лицо и медленно заглянул в глаза. Моня похолодел. В темноте в страшной близости перед ним стоял сумасшедший. Царь выпрямился, дёрнул руками и вскрикнул: «Чур, чур меня!» — отступая в глубину чёрного бархата. Стена подвинулась, и в лицо Моне ударил безудержный сценический свет. Моня стоял за кулисами в двух шагах от рампы, а великий Шаляпин, пятясь, выходил к зрителям в гениальной сцене «безумия».

«Чур, чур меня! Не я, не я твой лиходей!.. Ох, тяжело, дай дух переведу... И рад бежать, да некуда... Налётят сердце ядом, и тяжело, тяжело станет!..»

Шаляпинские арии я учил на слух с пластинок альбома фирмы «Мелодия» из десяти дисков. В шестидесятых папа приобрёл магнитоу, то есть скрещенные в одном механизме магнитофон и проигрыватель

для пластинок, и в нашем доме появились записи классической музыки. Я даже не подозревал, что ему не хватало её. Шаляпина мы слушали часто, но что такое Шаляпин в моём воображении? Голос, несколько портретов в старинном гриме и легенда. А для отца, только теперь я задумался над этим, Шаляпин на сцене — живая память!

Отец очень хорошо читал стихи. Он читал их в той артистической экспрессивной манере, которая из поэтических салонов «вышла в массы» в революционные годы и главным носителем которой был Маяковский. Красивый баритон отца переливался от нежности к громовым раскатам, а когда он, читая «Облако в штанах», нагибался вынуть из-за голенища «сапожный ножик», делалось страшно.

Я помню сладкий ужас, который переживал, когда он протягивал ко мне волосатую руку, произнося: «В тени косматой ели над шумною рекой качает чёрт качели мохнатую рукой. Качает и смеётся: вперёд, назад, вперёд, назад, доска скрипит и гнётся, о сук дубовый трётся натянутый канат». Когда потом, взрослея, я увидел эти стихи в сборниках, то обнаружил с удивлением, что знаю их наизусть.

Или как я плакал, когда он рассказывал о бедных нищих, отброшенных громом от порфировой короны Сакья-Муни! «Вихрь! Гром! И громовой раскат!» — в доме звенели стёкла, правда! А один бедняк выходит и говорит: «Ты не прав! Я стою как равный пред

тобою и говорю пред небом и землёю — Повелитель мира, Ты не прав!» В том, как он читал, чувствовалась нерастроченная с юности вера в возможность справедливого мироустройства. А ведь на его глазах прошли и Революция, и Гражданская война, и тридцать седьмой год, Отечественная война и Колыма...

Сегодня не принято читать стихи, а в те годы молодые люди читали их друг другу просто так, на своих вечеринках. Для чтения он всегда поднимался, крепко вставал на ноги, а я, сидя перед ним на стульчике, замирал от восхищения — он мог читать мне одному. Сейчас всего этого нет, даже на сцене победила бытовая манера произнесения звуков речи. А как жаль!

Странным образом он знал из русской поэзии наизусть лишь то, что шумело в его ранней юности, а советскую поэзию, за исключением фронтовых стихов Симонова, кажется, вообще пропустил. Я даже не помню, чтобы он читал наизусть позднего Маяковского, хотя всю войну носил в вещмешке серый библиотечный томик с красным пятном и фарфоровый бюстик поэта держал на столе.

Из всех музыкальных инструментов отец предпочитал мандолину и очень похоже имитировал трубу, прижав ладонь к щеке особым образом. (*Странно, я никогда не слышал от него джазовых мелодий, а только военные песни...*) Он даже думал собрать дуэт из нас с сестрой, подарив нам на Новый

год гитару и мандолину, но махнул рукой, когда обнаружил, что первое, что я сделал, получив новенький инструмент — нацарапал на лакированной деке своё имя.

Отец, безусловно, был одарён в версификации, но, чтобы стать поэтом, нужна одержимость. Всю жизнь он сочинял, что называется, по случаю, для дружеского пользования, писал сценарии семейных праздников, довольно любопытные, многоходовые, но истинной его страстью были розыгрыши, которые он ставил режиссёрски точно и исполнял, не скупясь на время и средства. В них проявлялась его любовь к театрализации, желание украсить жизнь.

Он рассказывал, что в Америке все друг друга разыгрывают, что обижаться на шутку — дурной тон, и что там были специальные магазины, в которых продавались пистолеты с чернилами, исчезающими при высыхании, дудочки, издающие неприличные звуки, что он долго таскал с собой авторучку, из которой выскакивала пружина, бьющая по рукам, и можно было купить клочок мятой туалетной бумаги с приклеенной какашкой. Последнее меня особенно озадачило, поскольку моему детству туалетная бумага была неизвестна, а для нужд использовалась газета.

Встречи с мифологическими личностями не очень волновали моё детское воображение — затёртое кино... Но теперь я с трепетом вспоминаю детали и горько

сожалею об их недоступности. Маяковский принимает от Мони тетраточку стихов, снисходительно благодарит. Приглушённый свет закулисья... Бурлюк со своим знаменитым стеклянным глазом. Бурлюк, который переписывал с клочков бумаги стихи Хлебникова, чтобы они не пропали... Или Шаляпин — что Шаляпин?.. Он наклоняется к тебе, и твой чуб шевельнулся под его дыханием...

Может, этого вообще не нужно описывать? Да и не в деталях дело. В касаниях вечности, пусть мимолётных, бьётся сама жизнь в её неразрушимой слаженности. И мне странно, ведь правда, — от Маяковского меня отделяет одно рукопожатие!

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Попав в Америку, Моня вынуждено осваивал язык, что называется, в боевой обстановке и довольно скоро был принят в школу в Южном Бронксе.

Будучи из школы исключённым, он начал работать и путешествовать. Впрочем, его путешествия на попутках и в ящиках под вагонами, похлёбку в ночлежках «Армии спасения» и случайные заработки мы с вами назвали бы босячеством, но для молодого американца в те времена подобный образ жизни не был исключительным — любимым героем отца навсегда остался Джек Лондон. Однако языковые нюансы давались не вдруг.

Как-то Моня был зван на ланч к состоятельному родственнику, брату матери, тому самому, по вызову которого вся семья и переехала в Америку: столовое серебро с десятком ножичков и вилок по сторонам тарелки, белые салфетки треугольником и прочие буржуазности, которых он не одобрял. В доме водились барышни, и Моня, ожидая расспросов о своих «скитаниях», заготовил фразу: «В этой гостинице я был вынужден спать на грязных простынях. — I had to sleep on dirty sheet». Но, еще не владея тонкостями языка, он вместо продлённого «sheet» произнес краткое «shit» — «я был вынужден спать в дерьме», даже ещё грубее!

Тишина, хохот, и барышни сползли под стол...

Никогда не вмешиваясь в мои школьные занятия, отец тем не менее находил недокучливые возможности участия в делах сына: знакомился с учителями, хлопотал в родительском комитете, а когда я переселялся из больницы в больницу, возил мне уроки и контрольные, заботясь о переводе в следующий класс. И разговаривал с учителями английского на английском.

Учителя английского мгновенно в него влюблялись. Во-первых, практически никто из них, школьных учительниц, в те времена не слышал живой английской речи, тем более нью-йоркского произношения начала века (*кстати, и русский язык отца был не московским, а петербургским*), во-вторых, обволакивали его нездешние манеры, естественные и элегантные, и, в-третьих, как говорилось выше, он был очень красив. В общем, я был обречен на пятёрки по английскому на все уроки вперёд, независимо от личных достижений, что, конечно, достижениям не способствовало. Отец сетовал мне на отсутствие прилежания в языке, предрекал горькие сожаления в будущем, но я был глуп, упрям и ленив.

Имея склонность к педагогическим новациям, он как-то увлёкся входящим в моду обучением во сне, намереваясь хотя бы таким образом улучшить мои знания. Соорудив из магнитолы «Эльфа» и будильника агрегат, включавшийся по времени, отец надиктовал своим прекрасным голосом урок английского на плёнку и, согласно методике из «Техники

молодёжи», приладил сооружение к моей кровати. Испытательный стенд включался каждые полчаса на три минуты в течение ночи, поэтому каждые полчаса отец вскакивал с постели и шлёпал ко мне сонными ногами наблюдать ход эксперимента. Под утро, отчаявшись уснуть, он отключил магнитофон, взял книжку, сел рядом и каждые полчаса просто зачитывал мне урок. А я жмурил глаза, притворяясь спящим. Утром мы были недовольны друг другом оба — урока я так и не выучил.

(Хотя знаете... знаете, что скажу? Я помню содержание урока! То был рассказ о молодом человеке, который плыл на пароходе и голодал в смущении и бедности, не зная, что стоимость обеда включена в билет.)

Отец некоторое время преподавал английский на вечернем отделении Полиграфического института, куда поступила моя сестра. Он присаживался на край преподавательского стола и беседовал со студентами, обсуждая приключения, случившиеся с ним на бесконечных американских дорогах. Методики интерактивного обучения нынче в моде, а тогда он выдумывал их сам, и к концу семестра студенты по-английски заговорили. Однако кафедрой его педагогическая деятельность была оценена неудовлетворительно, поскольку он преподавал не литературный английский, а империалистический американский...

Пройдя фронт от Москвы до Германии, отец встретился с американскими союзными войсками

на Эльбе. В худой лодчонке он переправился на западный берег и даже произнёс спич с подножки «Виллиса» под «Ура!» американской армии. Но по возвращении к своим был тут же вызван в «особый отдел» — многие плавали туда и сюда, но чтобы речь по-английски?! Обошлось.

В Москве, пенсионером, отец подрабатывал переводчиком реферативного журнала. Профилем его стала нефтедобыча, поскольку землеройные машины и драги, его институтская и колымская специальности, обеспечивались кем-то другим. И, углубляясь в переводы, он пенял неповоротливости русского языка, говоря, что простая деталь «fishbone» для русского реферата не может быть переведена как «рыбья кость», а лишь как «плоская ёлочка», что технически менее точно, да и некрасиво.

В самом конце жизни у него появился малюсенький, как он выражался, «клопяного размера» приёмник фирмы «Toshiba», привезённый тётёй Фаней из Америки, и он, прижимая к уху дырочки динамика, прикрыв глаза, напряжённо слушал новости в оригинале. Слушал и мрачнел — в тот год шла Вторая израильская война.

В США отец поселился всего лишь через пять лет после смерти Джека Лондона, великая американская литература двадцатого века только начиналась. Джека Лондона отец очень любил, считал лучшим мальчишеским чтением и всячески мне рекомендовал. А дядя Федя, драчун, жуир и хулиган, напротив, рекомендовал Диккенса и втолковывал мне, что

юмор Диккенса неперево́дим. Отец читал постоянно и везде, я помню, как в метро он вынимал книгу из распахнутого пальто и мгновенно уходил в чтение. Было два-три раза, я заметил в его руках английскую книгу и изумился — мой папа!.. Будто он мне не знаком вовсе... Я видел, что он пришёл из другого мира, и не мог этого осознать.

Помня труды отца, я старался, честное слово, старался выучить английский: в школе, в институте, самостоятельно — старался целых пятьдесят лет — свидетельством тому полка словарей, пособий и разговорников над моим столом. И не выучил, вернее, учил и забывал.

Не могу объяснить вам, в чём тут дело. Меня смущала невозможность даже родным языком выразить мысль в полноте. И ещё, должно быть, в глубине подкорки, в самом спинном мозге я был уверен, что никогда не увижу иные земли — ни Нью-Йорка, ни Японии, ни Гавайских островов. А когда на склоне лет неожиданно для себя я очутился в США, оказалось, что для объяснения элементарных нужд вполне хватает элементарной вежливости, и этика, так сказать, заменяет лингвистику. Глупость, конечно!..

Товарищ

Фёдор, товарищ Мони по Харбину, брат Лики, перебрался в Штаты позднее Мони, но прожил там дольше — до 1938 года. *(Федина сестра Лики, тетя Лики, самый близкий друг отца, прошедшая с ним рядом всю жизнь, Лики, в арбатской квартире которой мой папа, только что вернувшийся с фронта, встретил мою маму, приехавшую из освобожденного Мариуполя заканчивать еще довоенную дипломную работу, тетя Лики, которая вызвала меня ночью по телефону и, когда я примчался, сказала: «Сядь. Папа умер». Моя тетя Лики не была в Америке и в эту книгу не попала.)*

Рассказывая о Соединённых Штатах, Федя говорил только о своих приятелях, компании таких же, как он, сорвиголов: о драках, пари и розыгрышах.

«Я ему как дал — на лбу кожа лопнула крестом!» — глянешь на кулак: точно, мог и череп раскроить... Однажды на спор Федя пробил стену рестораника, в котором с дружками коротал время: «Я как дал — рука прошла насквозь и снаружи выбила дранку!»

«У нас машина была на всех, когда мчались — от скорости нос задирался! Так мы ложились на крылья с двух сторон, чтобы поставить её на колёса!»

В Штатах они брались за любую работу, и, бывало, Федя на жизнь зарабатывал велосипедными гонками и спаррингом на боксёрском ринге. О лёгких велосипедах с деревянными ободами он рассказывал, замирая, как о редких бабочках. Говорил, что в гонках на лидерство главное — забраться на треке выше и стоять там столько, сколько сможешь устоять, а потом сорваться и уйти на скорости. «Мы могли простоять на велосипеде час, держа равновесие и усыпляя противника, а потом как рвануть!»

Из Фединых историй выходило, будто они с друзьями только дрались да повесничали, что несправедливо — ребята были первоклассными механиками и работягами, однако, рассказы об их похождениях отличаются феноменальным разгильдяйством!

«...однажды мы поспорили, кто съест дюжину «сэндвичей» с ветчиной (Федя с отцом произносили «сэндвич»). Но американский сэндвич не тот, что здесь — здоровенная булка с мясом толщиной в палец — договорили бармена удвоить ветчину и не позволяли запихивать в рот пальцами, а только кусать».

«...другой раз спорили, выпьет ли кто 10 литров сайдера, не сходя с места».

«...или затащить чугунный радиатор на 13-й этаж? Крепыш, мы его всегда подначивали, говорит: “Затащу! Только развернуться помогите”. — Мы ему «помогали» на лестничных площадках разворачиваться, а он тянет и тянет, мы начали подавливать потихоньку,

потом сильнее, наконец повисли с двух сторон — так он нас вынес наверх вместе с радиатором!»

«...а то видим рекламу: “Мои джинсы не рвутся” — и премия. Мы говорим: “Порвём!” — “Рвите!” Взялись за штанины, налегли — не рвутся, вчетвером взялись — не поддаются! Ну, рванули и оторвали штанину. Но хозяин не заплатил — говорит, вы материю порвали, а она не моя — шов-то целый!»

«...однажды животом взялся ремень порвать на спор. Затянули потуже, застегнули пряжку. Я напрягся — пряжка лопнула, латунная! а ремень целый. — Проспорил!»

И с каким азартом, Боже мой, он об этом рассказывал!

Я упоминал уже, что Моня и Федя, два первых в Харбине драчуна, встретились где-то на пустыре выяснять отношения. *(Возможно, даже из-за Лики... Как-то она проговорила, что Федька не давал ей жизни — лупил всех ее кавалеров!)* И меня, мальчишку, до чрезвычайности волновало: кто же из них победил, кто? И как-то, не выдержав, я их спросил: друзья немедленно заспорили, заговорили горячо, но резко вдруг замолчали и сошли на другую тему. Что в двадцатом году двадцатого века случилось между ними в Северном Китае, скрыто от нас. Но в моём сознании, в моей памяти оба они остались непобеждёнными никем и никогда! И я хочу, чтобы и вы запомнили их такими!

Отец вернулся из Америки в Россию в 1928 году первым из большой компании молодых людей, обсуждавших возможность вернуться на Родину «строить новую жизнь», — Моня всегда двигался по своей особой траектории и всегда был первым. А Федя приехал в Союз позднее, пережив Великую Депрессию, уже семейным человеком, с намерением вывезти сюда десант своих товарищей, как говорили тогда, «спецов».

С собой он привёз жену, маленького сына и «Форд». Через несколько дней по оформлению советского гражданства Федю арестовали: «Кому-то очень понравилась моя машина». В самом начале войны, освободившись из лагеря, Федя пробился к семье в Мариуполь сквозь отступающие войска. Попав в оккупацию, уцелел с семьёй, предъявив какие-то американские бумаги, которыми прикрыл своё еврейство, и вёл разговоры с немцами исключительно на английском. Немцы оставили Федю в покое, не тронули, но наши, как вернулись, посадили снова и уже на десять лет.

В лагерях Федя выжил благодаря старому доктору, обучившему его фельдшерскому делу, и даже преуспел фельдшером, впрочем, как в любом ремесле, за которое брался. О жизни в лагерях дядя Федя рассказывал приблизительно то же, что и о жизни в Америке: «Ну, ввалился ко мне на фельдшпункт урка с топором за пазухой, справку хотел. Я дал ему раз — он дверь вышиб и крыльцо пролетел, топор у меня оставил».

Выйдя из лагерей во второй раз, дядя Федя поселился в Ростове-на-Дону и к пенсии работал начальником кузнечного цеха.

Кстати, в кузнечном цеху случилась история для него характерная. В процессековки под трёхтонным молотом лопнула раскалённая деталь, и вылетевший осколок угодил Феде в кисть руки. Обернув руку тряпкой, Федя пошёл в медицинскую часть, и молодая фельдшерица в кровавой каше обнаружила, что кисть в общем цела, а пострадал лишь большой палец — надо в больницу на ампутацию фаланги. Федя, смеясь, предложил фельдшерице отстричь раздробленную фалангу ножницами и, чтобы вывести из полуобморока, развлекал во время операции анекдотами. Когда же подошло к перевязке, попросил надставить на место удалённой фаланги маленькую деревяшку — дабы не пугать жену. Так с искусственным пальцем он и жил, покуда рана не срослась.

Жизнерадостность, сила и отвага этих двух чело-
век — Фёдора и Мони — вне возможностей описания.

Как-то, уже под конец их жизни, они оставили меня в Дефановке практически одного и отправились искать приключений. Возвратились дня через три весёлыми и довольными собой. Где были, что натворили, об том помалкивали, но что ввязались в какую-то грандиозную драку, а, может, и затеяли её и, конечно, всех побили, об этом говорилось.

И я им верю абсолютно, хотя вместе в тот год им перевалило за сто двадцать.

Федя, готовясь к пенсии, собирал справки, но, тяжело работая всю жизнь, из-за лагерей и оккупации не накопил положенного стажа. Ему посоветовали написать в США своим бывшим капиталистическим «хозяевам», и он со слезами в глазах упоминал о справках из небольших фирм и фирмочек, говоря, что американцы сохранили всё, даже следы его безалаберной жизни. Дядя Федя вышел на пенсию, и лёгкие его за год сторели от рака.

Отец умер, навещая его могилу. Проездом в Москву из Дефановки, которую только что продал, поскольку я вырос, выздоровел и поступил в институт, отец сошёл с поезда в Ростове-на-Дону навестить могилу друга. С кладбища отец поехал к вдове в хорошем настроении, шутил. За ужином встал, снял и положил на тумбочку часы, возможно, намереваясь показать фокус, как любил в весёлом расположении, просто так, вдруг, но не закончил жеста, сел, лёг — и умер. Сердце, как сказали врачи, даже не разорвалось — распалось, настолько было изношено.

Дядя Федя однажды сказал мне: «Знаешь за что я люблю твоего отца? Он хороший товарищ!»

«Товарищ», говорил папа, — значит надёжный, свой, единокровный. А если о ком-нибудь — «не товарищ», то тут ясно, дело гражданина «швах».

Драка в Гарлеме

Нью-йоркский сабвей из Бронкса на Манхеттен идёт прямо на юг, пересекая Гарлем от 155-й до 110-й стрит. Так было сто лет назад и так сегодня. Но вагонные двери в те далёкие времена, о которых речь, имели на створках ручки — раздвигались и запирались пассажирами.

Как-то Моня, сидя в углу вагона, заметил двух чернокожих парней, которые, стоя у дверей, развлекались, сдвигая и разводя дверные створки. К вагону спешила старая дама, а вы вспомните наряды столетней давности: как забавно, должно быть, она выглядела... Молодчики, подпустив даму поближе, с хохотом захлопнули створки дверей перед её носом. Моня вскочил на ноги, завязалась драка. Моня, я знаю, даже не подумал, что дама была «белой», а парни «цветными».

На следующей станции драка выкатилась на платформу, а затем из сабвея, всасывая в себя участников, как торнадо. И тут Моня опомнился: он дрался с чернокожими посреди Северного Гарлема! А Северный Гарлем даже сегодня, в третьем тысячелетии, — небезопасное место для белого человека. Потасовка грозила обратиться в побоище — люди сбегались ото всех углов.

Захватив в клещи одного из противников и закрываясь им от сыпавшихся отовсюду ударов, Моня

молотил, молотил и молотил... Дела принимали дурной оборот, дрянь дела! Из рук звереющей толпы Моню вырвал полицейский.

На вокзалах провинциальной Америки были устроены фонтанчики для питья, и папа рассказывал, что фонтанчики эти надписывались просто: «для цветных», «для белых». В автобус выстраивались две очереди — сначала входили «белые» и садились впереди, а затем «чернокожие» — назад, за перегородку. И похоже, — я, правда, не уточнял — только в нью-йоркском сабвее все граждане рассаживались, как хотели, без изъятий.

Я мечтал пройтись по Гарлему. Я представлял себе так: выйду из метро и пройду по улице до следующей остановки.

И вот, въезжая в бесконечный полис по мосту с севера, я увидел сквозь огромное окно автобуса чернокожих парней ме-едлен-но прохаживающихся по широким и странно пустым в этот рабочий час улицам. И понял — Гарлем!

Походку афроамериканца описать невозможно. Я много раз слышал об этом и теперь увидел в окно автобуса: они гуляли без дела, но казалось, будто исполняли начало боевого танца, готовясь к смертельной битве. Я представил себя идущим по этой пустой улице, наэлектризованной, как шаровая молния, и понял — не смогу.

Афроамериканцы — люди редкостной красоты, женщины восхитительны, не по отдельности, а в целом, именно как народ. Восхищаясь их пластикой, ростом, сложением тела, так сказать, костяком, я думал, что человечество, выйдя из Африки, все могло остаться таким. Но Гарлем с непривычки показался мне столь отчужденным, что я сбобел. И этим можно бы закончить, когда б не одно обстоятельство.

В нью-йоркском сабвее не принято уступать место пожилым людям, такой обычай — каждый отдельно. Мне, бывшему советскому пионеру, это странно, но, должен признаться, что и в Отечестве я начал приспособливаться к этому новомодному правилу. Так вот, дорогие, в Нью-Йорке мне, седому россиянину, дважды уступили место в метро: чернокожая девушка и господин с проседью, тоже афроамериканец. И я искренне благодарен этим людям!

Долларовые часы

Моня был щёголем и носил на цепочке хронометр жёлтого металла, противоударный и «вотерпруф». Стоил хронометр один доллар, имел запаянный корпус и не подлежал ремонту. В общем, шикарная вещь!

В вечность своего хронометра Моня уверовал настолько, что демонстрировал при любом случае и самым изощрённым образом: ронял с лестницы на асфальт, топил в баке с сайдером, вставал на корпус каблучками — часы продолжали исправно накручивать время. Но однажды, развлекая подружек, Моня покачал хронометр на цепочке и кинул в бургьян, так, вполсилы, а хронометр встал. Ни с того ни с сего! Моня повертел в руках тихо умерший механизм и выбросил по молодости без особого сожаления свои драгоценные rocket watch на жёлтой цепочке дутого «американского золота».

В Магадане отец приобрёл изумительные часы «Москва» Первого часового завода: массивный корпус редкого красного золота, тёмный циферблат, голубые фосфорные циферки, светящиеся стрелки, слышно, как золотая иголочка считает секунды, чёрный ремешок с золотой пряжечкой — и всё это на папиной руке.

Две вещи отца я страстно желал для себя: форму горного инженера с молоточками в петлицах и эти часы. Китель и фуражка с околышем ослепили меня, и прекрасному незнакомцу, наклонившемуся ко мне в детском саду, я прошептал только: «Ты мне их подаришь, когда вырасту?»

Покинув Магадан в первые дни пятьдесят седьмого года, мы переехали в Москву, и я угодил в туберкулёзную больницу. Майским утром в больничном парке, куда меня вынесли с кровати, в пятнах золотого солнца ко мне шли два человека: мужчина в роскошной шляпе и распахнутом пальто и красивая женщина с огромным букетом сирени — отец и мать — и я не узнал их. Мать заплакала. На отцовской руке сверкнули золотые стрелки — навсегда связав эти часы с юной пролитой солнцем листвой.

Вы удивитесь, но отцу нравилось чистое золото. И моя любовь к золотому цвету, точнее, свету — от него. Он знал, что золото не пачкается, и молодым, согласно той далёкой моде, носил кольцо с монограммой. Говорил: «Махнёшь тряпкой по черным от мазута рукам — блеснёт!..» И в Советскую Россию вошёл по тоннелю из Китая одетым в кожаную куртку, высокие американские ботинки и с золотым кольцом на руке.

Часы перешли ко мне по наследству, как и набор резцов по дереву и фартук «чёртовой кожи»,

в котором он увлечённо вырезывал из корней композиции любимой тогда всеми лесной скульптуры. Страшной тяжести корни он вёз в последнем своём путешествии с Северного Кавказа в Москву, домой, когда и вышел в Ростове-на-Дону навестить могилу дяди Феди.

Я не верил в его смерть ни когда поднимался в гремящем лифте в арбатскую квартиру тёти Лики, которая меня вызвала ночью с Октябрьских полей, ни в поезде, когда мы молчали, заняв целое купе, ни даже в самом Ростове на вокзале, где нас встретила вдова дяди Феди в чёрном платке. Я похолодел только в квартире, когда увидел на тумбочке золотые часы на папином ремешке. И на другой день у вокзала, где получал три места в камере хранения — чемодан, рюкзак и сетку, набитые скрученными корнями, когда на город обрушился невиданной силы ливень, и мимо меня медленно проплыл троллейбус с окаменевшими пассажирами, я все ещё пребывал в тумане...

Некоторое время я носил золотые часы, в общем-то, студенту по статусу не положенные, а потом оставил их в ящике стола красного дерева, тоже доставшегося мне по наследству. И однажды нашу квартиру взломали. Вор надавил на дверь, и дверь сложилась, как гармошка.

Что он искал — Бог ему судья, но пробыл вор в квартире, по всему видно, недолго. И единственной ценной вещью, которую он унёс, были золотые часы. Вор профессионально прошёлся по комнатам, выворачивая на пол ящики, и часы выпали из стола вместе с отцовским бумажником и фотографиями. И первым, на что я наткнулся, войдя в разорённый дом, был взгляд отца со старой маленькой фотографии, лежавшей на полу...

Young Communist League

Моя вступил в американский комсомол и посещал беседы Юджина Дебса. Серенькую фотографию Юджина Дебса я рассматривал в учебнике истории, и он мне нравился больше других портретов учебника, даже больше Робеспьера, в котором я любил звучное революционное имя и косичку. Но всё же представить себе моего папу рядом с этим человеком было сложно. Я легко мог вообразить молодого папу, отдающего тетрадку стихов Маяковскому, но в учебник новейшей зарубежной истории живой папа почему-то не вмещался...

О своей комсомольской юности отец почти ничего не рассказывал. Вообще-то, отец, человек кочевой, не очень подходил для заседаний и учёб комсомольских ячеек, и я не знаю ярких эпизодов его личной политической истории.

О классовых схватках в Америке больше рассказывал дядя Федя. Но опять же, повествовал в своём ключе — как правило, о драках со штрейкбрехерами, которых с тех самых пор я очень не люблю.

Отец говорил мне, что работать на хозяина унизительно. Он покинул штаты того капитализма, в котором рабочего могли вышвырнуть за ворота, не объясняя причин, покинул ещё до грандиозных

профсоюзных схваток Великой Депрессии, изменивших Америку. Он оставил Америку на заре Революции, когда коммунистическая идея воспринималась как что-то очень правильное, вообще-то!..

Однако здесь, в СССР, Миша не подал заявления ни в комсомол, ни в партию. Я спрашивал: «Почему? — «Недостойн», — и разговора не поддерживал. Он учил меня чистоплотности, но не хотел, чтобы я прожил жизнь в борьбе со страной, в которой родился. Сделав когда-то решительный шаг под своды тоннеля, ведущего на родину, фронтовик, доброволец, поступивший в Московское ополчение, горный инженер, после фронта уехавший на Колыму с семьёй добывать золото для разорённой страны, он до последних дней оставался верен выбранному пути, приняв все испытания, выпавшие Отечеству.

Отец не разделял моего увлечения строительными комсомольскими отрядами, потому что мы надели форму. Он опасался выстроеной в шеренги молодёжи — на его памяти такое уже бывало. Но то, что молодые люди едут на заработки, его радовало — студенты подрабатывали во все времена, и это правильно. С недоумением отец выслушивал мои восторженные речи, что деньги в нашем комсомольском движении — не главное, и удивлялся — что же для нас важнее умения самостоятельно зарабатывать хлеб?

От папиной комсомольской юности у меня осталась фотография молодого американского парня, аккуратно причесанного, с идеальным пробором, каких у нас не носят, с маленьким флажком на лацкане пиджака. На этом значке под сильным стеклом и сейчас можно разобрать буквы: «УСЛ».

«Ойфн припечек»

Афун-припечек/ брента-фаирыл/ унэштубыз-гейз,/ унте-ребе-лерен/ клейне-киндерлах/ дэм-алеф-бэйс./ Зогзи-киндерлах,/ зогзи-таере/ комец-алеф-о,/ зогзи-нохамолон/ таки-нохамол,/ комец-алеф-о...

Эту песню я помню столько, сколько помню себя. Я написал её, как выучил в младенчестве с отцовского голоса, пытаюсь передать интонацию и паузы, с которыми она звучит во мне.

«О чём в ней, папа?» — «В печи горит огонь, в комнате тепло и хорошо, и старый учитель говорит детям: учите буквы дети, и вы научитесь читать хорошие книги... Алеф, Алюха, — первая буква еврейского алфавита...».

Отец никогда не говорил, но я знаю от иных свидетелей того времени, что бытовой антисемитизм в Соединённых Североамериканских Штатах в начале двадцатого века процветал. И, думаю, отец сокрушил не одну челюсть за «кіке» (*что-то вроде нашенской «жидовской морды»*), уж не сомневайтесь! В Южном Бронксе, куда евреи Нью-Йорка лет за двадцать до того переехали из Гарлема, не спускали вольностей на эту тему. В целом же мультинациональный

Нью-Йорк, как я понимаю, естественным образом склоняет человека к толерантности — иначе просто не выжить.

Вопросы национальной идентичности и веры отец относил к интимной сфере и мало говорил со мною на эти темы. А религия, помнится, по его мнению, была простительным заблуждением человечества. Но всё же, когда единственный раз в жизни мы вошли с ним в синагогу, сопровождая тётю Фаню в группе американских туристов, я был сражён его непринуждённым поведением! Оказывается, еврейский мальчик всё помнил! Ещё на крыльце синагоги, не имея кипы, папа положил на свою и мою головы глаженный носовой платок, тётя Фаня, с которой он всегда держался за руку, безмолвно отделилась и ушла куда-то наверх, а разговор его, почудилось, с английского перешёл на идиш...

Израильская война 1967 года началась ещё при его жизни. Отец лежал на своём топчане ко всем спиною и вслушивался в маленький транзисторный «Toshiba», чудо техники, подаренное ему тётей Фаней. Он слушал «голоса», так все называли зарубежные станции, но у него было огромное преимущество перед советским населением — он мог слушать «голоса» на английском языке. Со мной отец политику обсуждал мало (*я был правоберным комсомольцем*), но иногда вскидывался и, открыв страницу в пятидесятитомном БСЭ, стучал в карту

толстым крепким ногтем, чуть огибавшим фалангу после фронтового ранения: «Ты посмотри, крошечная страна!..» Он гордился своими фронтовыми товарищами, создавшими армию Израиля.

Однако еврейская традиция в целом его не воодушевляла как что-то внешнее и ненужное... Выяснилось, он всё знал, но его, человека мира, отпугивала не религиозность даже, а сепаратизм и, можно сказать, настойчивая сегрегация традиционного еврейства. Своим же кровным родством с древнейшим народом отец гордился и радостную открытость трагическому нашему миру, нестигаемый романтизм носил в крови. Для ликования ему не нужно было поводов, он и так был полон счастьем жизни! Даже на Колыме в мороз, от которого лопалось железо, он пил меньше всех. «Миша, выпей!» — «Зачем? Мне и так хорошо!»

И меня отец воспитал так, что я, зная с рождения, что я еврей, до комизма не воспринимал оскорблений национального толка. Меня просто не могли оскорбить, обозвав «евреем». Хотя... дрался, было...

А коль всё же до моего личного еврейства, то что?.. Когда мне впервые положили на руки внука, легчайшего игрушечного мальчика, я прижал его к сердцу и, не зная почему, запел: «Афун припечек брента фаирыл...» И ещё мне подарено слово, которым отец награждал не только лакомства, но всё, что возбуждало в нём мальчишеский восторг: «Это же цимес!»

Ojfn pri peček brent a fajerl
Un in štub iz hejs,
Un der rebe fernt kleine kinderlex
Dem alef-bejs.

Refren:

Zet že, kinderlex, gedenkt že, tajere,
Vos ir lernt do.
Zogt že noxamol un take noxamol:
«Komec-alef» — «o»!

Az ir vet, kinder, elter vern,
Vet ir alejn farštejn,
Vifl in di ojsies lign trern
Un vifl gevejn.

Refren.

Lerent, kinder, mit grojs xejšek,
Azoj zog ix ajx on.
Ver es vet fun ajx kenen ivre,
Der bekumt a fon.

Refren.

Ojfn pri peček brent a fajerl
Un in štub iz hejs,
Un der rebe fernt kleine kinderlex
Dem alef-bejs.

В печке горит огонь,
в доме тепло.
Рабби учит маленьких детей алфавиту.

Смотрите дети, запоминайте, милые,
то, что здесь учите.
Скажите раз и ещё раз, повторите за мной:
«Конец-алэф» — «о»!

Когда вы, детки, станете взрослыми,
вы поймёте,
сколько слез в этих буквах
и сколько страданий в посланиях.
Учите же дети усердно,
я вам говорю,
и лучший получит награду.

В печке горит огонь,
в доме тепло,
рабби учит маленьких детей алфавиту.

Ступня гоплита

Моня был красив. И не просто, а как киноактёр, как Марлон Брандо. На любой старой фотографии его мгновенно выделишь: красивое, ясное, запоминающееся лицо. Но не в том дело... Он был идеально сложен!

Античные греки, желая запечатлеться в веках прекрасными, вычислили совершенные формы человеческого тела. Их мраморные воины, гоплиты, создавались по божественным лекалам, и даже пальцы ступни гоплита имели особый рисунок. Так вот, видите ли, Моне природой подарена была именно такая идеальная фигура — даже пальцы ступни имели правильную греческую форму.

И Моня не то, чтобы гордился своей фигурой, но как бы ощущал, что она не вполне его собственность, и потому готов был скинуть одежды и демонстрировать сложение тела по первому намёку, по любому поводу — и, действительно, не имел соперников! Друзья, как водится, подшучивали над ним, но восхищались. И девушки, девушки, конечно, — старые фотографии не врут!

Моня узнал об этой особенности своего тела в Нью-Йорке, когда выросл, от молодых художниц. Он позировал им, даже подрабатывал натурщиком,

подружился, сам баловался кистью и кому-то из их компании послужил моделью для скульптуры Иисуса Христа.

Именно молодые художники посвятили его в тайны пропорций человеческого тела и именно они обратили его внимание на строение ступни.

Году в шестьдесят четвёртом в Белые ночи отец повёз меня в Ленинград встречать сестру Фаню. Ранним утром мы спустились по безлюдному проспекту от Московского вокзала к далёкой Адмиралтейской стреле. Папа заметно волновался: он не видел города больше тридцати лет, с тех пор как вошёл в Советскую Россию из Китая по железнодорожному тоннелю и добился разрешения учиться в Ленинградском Политехе.

Сквозь великолепную арку Генштаба мы вышли на площадь: я умолк, и отец остался довольным мною и местом. Постояв, мы направились к маленьким черным фигуркам в углу площади и, шагнув в колоннаду полированных гигантов, несущих огромный камень, снова замолчали. Атланты были нереально красивы, но важнее другое — среди них человек понимал, что они останутся здесь всегда и никогда не оставят ноши! Напряжённые икры титанов воздвигались на уровне моих глаз, и ступня впечатывалась в гранитный куб.

О той бронзовой статуэтке отец рассказал мне, взглянув как-то на мои мальчишеские ступни. И тогда

я узнал, что ношу в себе тайный знак какого-то древнейшего рода, свидетельство того, что стою в нескончаемой цепочке человечества, и это знание помогало мне жить.

Бронзовую статуэтку я представлял себе так ясно, будто держал когда-то в руках. В поисках именно её я и поехал в Нью-Йорк. Казалось: стоит увидеть, и сразу узнаю молодого отца! По его рассказам, фигурка хранилась в Метрополитен-музее на 5-й авеню. Дочь по моей просьбе списалась с музеем и получила письмо с двумя репродукциями: среди бронзовых скульптур, приобретённых в 1921—1928 годах, две действительно изображают молодого человека, мальчика, но ни одна — Иисуса Христа. По фотографиям понять нельзя ничего, то есть никакого сходства, и я отправился в путь.

Но в гигантском Метрополитен-музее я даже не нашёл зала, в котором могла бы храниться такая скульптура. И неизвестно, выставлена ли она в экспозиции, спрятана ли в запасниках, и никто не знает, в Метрополитен ли музее эта скульптура вообще...

Я жалел, что не расспросил отца когда-то подробнее: стоял ли он, сидел, бронза ли? Но в детстве не нужны знания — достаточно воображения.

«Привет контрабандистам!»

Моня вошёл в Советскую Россию по железнодорожному тоннелю из Китая. Просто вошёл пешком, по рельсам, как до этого проходил десятки километров по железнодорожным путям бескрайних дорог Соединённых Штатов. Он был хорошо экипирован: кожаная куртка, высокие шнурованные ботинки армейского образца, небольшой укладистый мешок на плече. Над входом в Советскую Россию красовался красный транспарант: «Привет контрабандистам!»

Чтобы попасть к тоннелю, Моня нанялся матросом на корабль, идущий из Сан-Франциско в Австралию. В гавани, в ожидании счастливого путешествия, он буквально порхал по кораблю, взлетая на мачты, и боцман-«боусен» начал приглядываться к новому ловкому парню. Но как только вышли на открытую воду, Моня, подкошенный океанской качкой, упал в бухту канатов и свернулся калачиком. «Not a sailor...», — заключил боусен. В Японии Моня подумывал оставить корабль, чтобы на каботажном судне перебраться в Китай и пойти на север. Капитан вызвал матроса к себе и сказал, что знает о его планах, не будет удерживать, но рекомендует матросу отдать маленький револьвер, что спрятан в вещевом мешке: «В Японии за револьвер посадят пожизненно». — Моня внял разумному совету. Ему очень хотелось в Австралию, но тогда бы его путешествие затянулось

на несколько лет, а может, и навсегда... А надо было спешить в Россию, в двадцать три года пора заканчивать безответственные странствия и включиться, наконец, в это грандиозное строительство СССР — невиданной страны всеобщего счастья!

Моню взяли сразу на выходе из тоннеля, даже не арестовали, а просто красноармейцы-пограничники забрали его к себе в сторожку. Напоили чаем, всю ночь слушали рассказы об Америке, уложили спать прямо на столе, а утром пришла машина, и Моню увезли во Владивосток.

Тюрьма во Владивостоке 1928 года представляла собою удивительное учреждение. Прежде всего, в ней была коммуна заключённых, и староста выходил в город закупить провиант на собранные арестантами деньги — арестанты питались на свой кошт. Однажды в качестве сопровождающего староста взял с собою Моню... Ночами арестанты навещали друг друга, имея ключи от всех камер. Больше других отцу запомнился анархист, у которого руки были оклеены хлебным тестом от кистей до локтя, даже не тестом, а жёванным мякишем чёрного хлеба, мякиш таким образом готовили для лепления шахматных фигур: шахматы были главной игрой в тюрьме, и между камерами проводились турниры.

Следователь требовал от отца признания в американском и японском шпионаже. Моня стоял на своём и не подписал ни одной бумаги. Как позднее

выяснилось, это его и спасло. Мне кажется, всю меру опасности, взмахнувшую над ним смертоносной ко-сой, Моня тогда не осознавал, полагая, как и многие, что Революция обязана защищаться. Однако дело за-тягивалось...

Из тюрьмы Моню вырвал брат, сотрудник Блюхе-ра и бывший дальневосточный партизан. Брат Боря приехал и со словами: «Не портите мне парня!» — увёз Моню с собой.

Моня получил поражение в правах, так называе-мое «минус восемь» (то есть из жизни исключались крупные союзные центры), и, не имея возможности поехать в Москву или Ленинград, поступил в брига-ду грузчиков в Омске. В Москве у него был заветный адрес, так сказать, явка всех странников, а в Ленин-град ещё в Америке его приглашал учиться сам Ио-ффе. Моня, теперь чаще Миша, скитался по стране четыре года и некоторое время даже работал пере-водчиком при американских специалистах, ставив-ших оборудование зерносовхозам где-то в южной Сибири или Средней Азии. Однажды на узенькой улочке Бухары Моня увидел девушку такой красоты, что забыл всё и ходил за нею по городу, не в силах оторвать глаз. Остудили его два брата, встречавшие девушку у ворот дома. «Бухарские евреи, — говорил папа, — люди невероятной красоты!»

В конце концов управление зерносовхозов «ко-мандировало» Моню в Ленинградский индустриаль-ный институт на механический факультет, куда его

и приглашал когда-то академик Иоффе. И здесь он уже навсегда превратился из Мони в Мишу.

Проход через тоннель в Советскую Россию мне снится. Не во сне снится, наяву. Какая отвага, какая восхитительная чистота души! Вот так: взять и войти в темноту по рельсам под надпись «Привет контрабандистам!» Да он и был контрабандистом в своей американской куртке, шнурованных сапогах, с бородкой-эспаньолкой, как у Троцкого, и с золотым колечком на безымянном пальце. Не зная того, нелегально он принёс с собою уже запрещённое знание о человеческом достоинстве, о свободе оставаться собою в любых обстоятельствах кованной железом жизни.

Кони Айленд

Отец рассказывал, что утром мостовые Бронкса заполнялись школьниками, бегущими на роликовых коньках. Шорох роликов перекрывал все звуки утреннего рабочего города..

Роликовые коньки — недоступная мечта моего отрочества. Зато у меня был самокат: наши самодельные самокаты на стальных подшипниках, тайно вынесенных с завода, гремели по мостовым почище американских роликов!

Однажды Моня решил уйти из дома и поселиться в лесу. Он пересёк рукав Хадсона и вошёл в лесную чащу. Поставил шалаш, развёл костёр, приготовился к ночлегу... Из Центрального парка его выставил полицейский патруль и отправил домой на метро.

Central Park, хоть и расположен посередине Манхеттена, но до сего дня имеет глухие уголки, а уж сто лет тому — и подавно. Моня ушёл из дому совсем мальчишкой... И мне понятно, почему в Дефановке летом отец отпускал меня в лес одного на целый день с куском хлеба и твёрдого, как палка, суджужа, которые я освежал ежевикой и горной водой.

Нью-йоркские шкеты промышляли тем, что громили торговые автоматы на глухих улицах, выбивая

центы, кварталы, если повезёт, и фасованную съедобную чепуху. Моня, предоставленный сам себе, голодный, тоже решил попытать счастья и разбил как-то ночью одинокий уличный автомат. Денег не добыл, но посыпались шоколадки, которыми он в спешке набил карманы и бежал...

Папа рассказывал историю о шоколадках без нравоучительной нагрузки, мол, как нехорошо и т. д. — О чём тут говорить? Он рассказывал о том, как сложно быть независимым. Но история поразила меня в детстве не криминальной стороной, нет! Мне никак не удавалось вообразить сам автомат с шоколадками один-одинёшенек на пустой улице!

Американские магазины, рассказывал мне папа, устроены так, что выбраться из них без покупки невозможно. «Представляешь, там есть специальные отделы, где всё по дайму?! Горы каких-то невозможных штучек, и любая в 10 центов! Возьмёшь какой-нибудь ножичек диковинный, а потом в недоумении — зачем?..»

Американские магазины подавляют — в океане вещей становишься маленьким, усталым и безразличным. В поиске подарков для семьи в зале вне-размерного нью-йоркского универмага я пытался различить: что там вдали? Но видел только ряды, ряды и ряды тёмных штанг, плотно, как пружины, обвитых проволокой — то были вешалки с одеждой, потерявшей цвета от плотности упаковки.

А тогда, давно, мальчишкой, чтобы как-то вообразить себе нью-йоркский универмаг, я спросил отца: «Как Детский мир?» Он посмотрел на меня, улыбнулся и погладил по голове...

Моня заходил в университетские кампусы полюбоваться студенческой жизнью, но поступить в колледж даже не мечтал — он ведь не окончил средней школы. Как ему нравились эти ребята и их весёлая, насыщенная жизнь! И очень нравилось, что всё в кампусах они делали сами: подавали, мыли, убирали. Только в СССР он с удивлением узнал, что не каждый бизнес в почёте — есть уважаемые профессии, а есть презренные...

В Высшее учебное заведение Моня был принят в СССР — то реальное дело, которое ему не удалось бы осуществить в Америке. Причём для него лично были подкорректированы условия приёма: во-первых, он опоздал, приехал поступать осенью, а его всё же приняли. Во-вторых, его взяли, несмотря на диктант, который он написал более чем с сотней ошибок! Приняли, впервые применив семестровый кандидатский стаж. Это была инициатива академика Иоффе, к которому Моня пришёл лично, напомнить о старом договоре. Закончил Индустриальный институт Миша в 1938-м году.

В поисках тех самых камешков, живых ступеней, которых касался мой отец, я высаживался и на острове Либерти, и добрался до Кони Айленд.

То, что осталось от страны «Кони Айленд», больно описывать. Запущенная улочка в районе Брайтон Бич, идущая вглубь материка от берега океана, с малышенькими долларовыми лавчонками... Ни «американских горок», ни каруселей, ничего, что я воображал себе по рассказам отца. «Ты идёшь по тёмному лабиринту, по доске над пропастью, и вдруг ветер снизу, у девочек поднимаются юбки, они визжат, отпускают перила, доска качается... А чёрт колет вилами и не пускает назад!»

А Статуя Свободы — ну так она всем известна.

Мы плыли на пароме, нагруженном чернокожими экскурсантами — должно быть, Liberty Island входит в образовательный минимум Америки. Досмотр на паром был таким бдительным, что меня с трудом пропустили за рамки металлоискателя — звучали клипсы на моих подтяжках. А на острове, у подножия статуи, перед заповедной лестницей, именно той, деревянной, по которой Моня поднимался к самой короне, в армейской палатке ещё один пункт досмотра — построже прочих, вход по часам. Я так и не коснулся заветных ступеней, лишь обошёл гигантскую статую и сфотографировался на её фоне, как все. И знаете, что меня поразило в грандиозной женщине более всего? То, что она не стоит, а шагает: сзади, из-под мантии, выглядывает огромная пятка.

Вид Манхэттена с этой точки прекрасен, что и говорить! А лестницу старинную, что больше ста лет вела к короне, заменили новой, читал я...

Однажды ночью на вокзальную скамейку к Моне подсел «попутчик». Разговорились — американцы в те времена легко вступали в разговор — и знакомец пригласил на ночлег к себе. Мона был очень молод, очень голоден и согласился. В грязной комнатке под чердаком, в которой кувшин с тазом заменял умывальник, знакомец, большой и тяжёлый, запер дверь и начал движения оскорбительного и вполне определённого свойства. Положение сделалось опасным. И тут Мона проявил свои бойцовские качества: быстро и решительно подняв кувшин, он подошёл к окну — открывай дверь, или высажу окно!

Отец рассказал мне историю с кувшином в назидание, когда я подросток и начал самостоятельные поездки по городу. — Будь осмотрительным! Но я несколько не настрожился его рассказом. Только ещё раз поразился силе его духа, ведь тогда он был мальчишкой, лет шестнадцати, не более...

Иногда Мона посещал ночлежки «Армии спасения», которые были особенно привлекательны миской горячего супа, полагавшейся каждому страждущему. Однако «Армию спасения» следовало беречь для крайнего случая: попользоваться от неё можно было лишь единожды, ну дважды, если повезёт. Особенностью ночлежек «Армии спасения» была проповедь — обязательное приложение к супу. Как-то, прижатый обстоятельствами, Мона переночевал в объятьях «Армии спасения» дважды подряд

и пришёл в третий раз. Пастор узнал его и отметил в проповеди усердие к Богу молодого человека. Вдохновлённый Моня намерился поужинать на счёт благотворителей ещё раз. «Парень, — встретил его привратник райских врат, — ты уже чист, как младенец!» И не допустил Моню к супу...

Ночлежки я видел у Чарли Чаплина: подвал, полутьма, два ряда грязных топчанов, измотанные невымытые личности укладываются в одеждах, ставя ботинки под подушку, у входа страшный привратник... И мой отец: молодой, красивый, среди этих людей — невозможно!..

Из Америки Моня привёз любовь к кровавым стейкам, грейпфруту и к пинат-батер.

Стейк с кровью — то блюдо, о котором отец мечтал, но никак не мог получить в нашей семье. Помню выражение его лица, когда после долгих переговоров на кухне он опять принимал на тарелку пережаренный кусок мяса — моя бабушка, рыбачка из Мариуполя, не способна была уяснить, как это можно есть мясо «сырым»?

В Нью-Йорке в память об отце я питался только стейками, поражённый их размерами и разнообразием. Однажды я попросил принести кусок поменьше: «O'key!» — ответил официант и принёс кусок чуть ли не в полкило. «Я же просил меньше?!» — вейтер развёл руки — мол, маленьких делать не умеем...

Арахис в моём детстве существовал только в виде ломких орешков, чем-то схожих с человечками. Мы их жарили, а потом лушили, вдыхая жирный аромат. Пасту в баночке привезла тётя Фаня — сюрприз. Живо воображаю переписку... Фаня: «Что тебе привезти?» Моня прикидывает: «Баночку peanut butter»... Я был единственным в семье, кто разделял его вкусы. Например, «зелёный сыр» ели только мы вдвоём — все остальные выходили из комнаты.

Грейпфрут... Я увидел грейпфрут уже взрослым. «Грейпфрут, понимаешь, как апельсин, но не сладкий, горьковатый». В детстве я не мог взять в соображение: зачем такую штуку нужно есть перед обедом?..

Ниагарский водопад находится не в США, а в Канаде. Возможно, Моня узнал об этом уже на месте. На катере с народом он переплыл в Канаду, в тяжёлом резиновом макинтоше прошелся под стеной воды по деревянным скользким мосткам и снова встал на катер возвратиться в США. Но на сходнях его отделил от пассажиров офицер, не допуская в Штаты. Почему острый глаз выделил Моню из толпы? Не знаю...

Как наяву видел я этот задраенный, облитый водой монашеский капюшон, грохот, убивающий все звуки, как падающее стекло, стена воды слева, справа мокрая скала... Я видел это так часто, что чудится, будто в кинематограф эти кадры попали из моего воображения...

А в США Моню, как понимаете, офицер пропустил, иначе как бы вы читали эти строки?

Отец любил Бастера Китона больше Чарли Чаплина — безусловный отголосок популярности середины двадцатых в Америке. Имена Бастера Китона и Гарольда Ллойда я знал чуть не с детского сада, а эпизод с амулетом, побеждающим страх, в устах отца был главным аргументом в моём мужском воспитании: бабушкин волшебный амулет оказался просто ручкой старого зонтика.

Моня, как говорилось, был спортивным малым, очевидно, неплохо играл в бейсбол, во всяком случае, мог ловить твердые, как камни, бейсбольные мячи голой рукой, без рукавицы. И меня научил этому фокусу — надо оттягивать руку по ходу камня, гасить удар, и камень не травмирует руку. Мы перекидывались с ним тяжелой галькой на нашем горном пляже в Дефановке. Рассказывал, что американские мальчишки в любом месте, в любом дворе мгновенно организуются в команды и начинают игру. Его удивляло, что в России не так, иногда кажется, что для нас переговоры важнее самой игры. Из Японии, через которую Моня возвращался в Россию, он принес в памяти две картинки: осьминога в человеческий рост, подвешенного в какой-то рыбной лавке, и мальчишек, играющих в бейсбол...

Моня и Федя рассказывали, что в американских многоэтажных домах торговцы разносили ранним утром и ставили под двери пакеты с хлопьями, рисом, бутылки молока, свежий хлеб. И если очень хотелось есть, то можно было тихонечко встать и, пройдясь по коридору, собрать себе по горсти сносный завтрак. Американцы, я так понимаю, строгие, даже суровые в делах собственности, закрывали глаза на «хищения» такого рода, относя их скорее к виду взаимопомощи...

Но вот какое чудо произошло в Москве на Октябрьских полях в 1960 году! Школьным утром, открыв двери нашей коммуналки на площадке второго этажа, у порога я нашёл две бутылки молока под серебряными крышечками. Напротив у дверей стояли такие же бутылки. Не могу вам описать, как был счастлив отец! Приметы иной жизни неслыханно радовали его: кукуруза на полях, поездка Хрущева в Америку, попкорн, возможно, скоро появится чуинг-гам... «Смотри, Алюха, тебе не нужно будет бегать за молоком!»

Провал торгового почина был сокрушительным. Доставка продолжалась два дня, не дольше. Новый дом, тот самый, пятиэтажный, в который из филёвского барака переехала наша брандвахта, отказался платить — мы ещё не были готовыми к новой жизни.

Моня был очень сильным. Например, он мог пассатижами перекусить гвоздь-стопятидесятку

(попробуйте и поймете), но главное, он знал множество приёмов и приёмчиков, вывезенных от рабочих Америки и облегчающих труд. Видя, как наши дворники мучают метлой бумажный сор в саду, замечал, что давно уже придумана палка с гвоздём. А меня научил рвать руками толстые верёвки: раз, и всё!

В гостях у кукольных мастеров штата Коннектикут я применил этот приём, когда работе грозила задержка — порвал капроновый шнур под аплодисменты: «Старый русский трюк!» — пояснил я.

А ещё Моря научился одной чисто американской штуке, невозможной для наших бродяг: спать сладким сном, укрывшись газетой. У нас ведь такой фокус не пройдёт — морозы покрепче, газеты потоньше...

Газеты... Отец мог прилечь на любом ложе, лучше всего жёстком, с какими-нибудь «Известиями» и через минуту, сдвинув очки на лоб, повернувшись на бок, натягивал газету на голову. Удивляло то, что сколько бы он ни ворочался во сне, газета с него не съезжала. Под газетой он получал самый сладкий и спокойный отдых, превращаясь в кого-то другого, незнакомого, далёкого... И семья в такие моменты будто замирала, поражённая его странным преобразованием.

Мориц, Юдифь, Борис, Фаина, Абрахам, Эммануил

На фотографии почти столетней давности мальчик протягивает руку к камере и говорит (надпись на обороте): «Здравствуй, папа, ждём тебя в Нью-Йорке!» Ранняя весна, мальчик в модном пальто с поясом. Арка парадного входа за спиной и огромный рекламный плакат. И девочка, играющая на широком тротуаре в классики.

Мальчик — Моря, мой папа, совсем недавно приехавший в Нью-Йорк. Возможно, это первая американская фотография Мони и самая ранняя фотография отца, которая у меня есть. Я очень её люблю. И ещё мне до боли нравится девочка: в буклях по моде, с большим белым бантом, белых туфельках и белых чулках, чуть собранных на коленках, — она отвернулась от камеры и занята своей девчачьей игрой. Начало двадцатого века. Южный Бронкс. Нью-Йорк. США.

Отец о своей семье рассказывал очень редко, всё, что знаю, собрано из обрывков...

Родился отец в Вильно в «черте оседлости». Родился в разгар революционных событий девятьсот пятого года...

О раннем детстве, быте, о погромах в городе Вильно папа при мне никогда не вспоминал. И самая

ранняя история его детства — о расстреле в Петрограде июльской демонстрации семнадцатого года.

Одиннадцатилетний Моня сбежал из Озерков в Питер участвовать в Революции. Семья переехала под Питер из Вильно в начале Первой мировой.

Утром 4 июля Моня добрался до Финляндского вокзала, и людской поток вынес его на Литейный мост, под пули. От пулемётного огня Моню спасла женщина, втолкнув от безумной толпы в подъезд. Белую кофту этой женщины отец помнил всю жизнь...

Мой дед Мориц Хаимович — «конторский служащий», как обозначено отцом в автобиографии 1949 года, — о нём я практически ничего не знаю. Полагаю, дед Мориц имел достаточно левые убеждения: папа запомнил, что сидел в нежном возрасте на коленях знаменитой Стасовой. Обнаружив как-то на сталинской высоте каменный профиль Е. Д. Стасовой, я испытал к нему почти родственные чувства...

При том всё с дедом Морицом у меня личная связь — в самой основе моей жизни. Видите ли, отец меня не наказывал. За всю жизнь ударил дважды: полотенцем, когда я чуть не отстал от поезда лет в шестнадцать, и ещё пятилетнего — в счёт перешедшей границы злобности. И пояснял так: мой отец меня сильно порол, но однажды я отобрал у него ремень и поклялся, что никогда своих детей не ударю!

Папина мама, моя бабушка Юдифь, как все еврейские мамы того времени, работала домохозяйкой,

организуя жизнь большой семьи. Они с мужем отпраздновали золотую свадьбу в Нью-Йорке в кругу разросшегося семейного клана. Именно с мамой Моня выехал в Североамериканские Соединённые Штаты и прибыл в Сан-Франциско в 1920 году. Они поселились в Нью-Йорке у состоятельного родственника, кажется, из маминой семьи. Старшие дети некоторое время оставались ещё с отцом в Харбине.

По каким причинам и когда семья выехала из пригорода Петрограда в Харбин, я не знаю. Могу предположить, что случилось это летом или в начале осени семнадцатого года, поскольку папа ни разу в жизни не упомянул, что был свидетелем Октябрьской революции.

В ряду детей Моня был младшим: Борис, Фаня, Абраша, Моня.

Борис в Гражданскую войну попал в плен к японцам, и семья спасала его, доказывая, что, по японским законам, он, не достигший совершеннолетия, никак не может быть военным преступником. В лагерь к военнопленному старшему брату Моня ухитрился пронести штык, за что крепко получил по шее: японцы не стали бы разбираться, диверсия или дурость, — брату грозил пожизненный срок. Штык этот братья утопили в сортире. Впоследствии участник дальневосточного партизанского движения Борис работал в Советском Союзе на различных хозяйственных должностях, в тридцать седьмом попал в лагерь, в Великую Отечественную добился

перевода из лагерей на фронт и без вести пропал в боях. В США старший брат не поехал.

Брат Абраша получил в США высшее образование и рассказывал мне лично, собиравшемся поступать в химический вуз, что его, профессора химии, уволили из лаборатории, когда американскую компанию в Балтиморе купили голландцы. Абраша присылал из Балтимора и Флориды цветные удивительные *(по моим тогдашним понятиям цветными могли быть только типографические открытки)* фотографии: он поднимает в руках выловленную в океане большую рыбину на борту собственной яхты! Папин брат приезжал в Советский Союз лишь однажды, после Фани, за год до смерти Феде, с которым в юности дружил. Я был свидетелем первой встречи Абраши и Феде после тридцатилетней разлуки. Эти два шестидесятилетних старичка, как мне казалось с высоты моих семнадцати, в первое же мгновение схватили друг друга за плечи и с силой ударились грудью, а потом громко заспорили о том, кто из них громче выдохнул «хук!». Проигрывал тот, из кого звук был выбит громче.

Дядя Абраша гордился своей небольшой коллекцией картин и даже прислал по моей просьбе фотографию натюрморта Давида Бурлюка. И, как вспоминаю, он говорил ещё об оригинале Кандинского...

Фаня.. Любимая сестра... Тётя Фаня прилетела к отцу сразу, как только стало возможно прилететь,

как только приезд американки перестал нести опасность брату и его семье. Она приезжала трижды: два раза при жизни отца и после его похорон поговорить со мной. В первый раз я увидел её восьмилетним, когда лечился в туберкулёзном санатории под Москвой.

В тот первый приезд они встретились с отцом в аэропорту после тридцатилетней разлуки. Ещё по разные стороны границы, выхватив в толпе взгляд, они кинулись к стеклу и пошли по разные стороны бесконечной стены, не в силах оторваться друг от друга даже для того, чтобы снова встретиться.

Для второй встречи с Фаней отец вывез меня в Ленинград, мечтая показать свой любимый город. Тётя Фаня прибыла к нам через два дня на корабле, в туристической группе бывших школьных учителей. Я уже перешёл в десятый класс и мог даже самостоятельно купить одному из американцев папиросы «Казбек». Тётя Фаня привезла такую гору вещей, что загрузила ими всю туристическую группу. Эти вещи семья носила многие годы — у меня, например, появились настоящие джинсы, жёлтая нейлоновая куртка-«виндбрукер» и невиданные здесь эластичные плавки с крошечной летучей рыбкой, сыгравшие в моей матримониальной жизни серьёзную роль... В нашей семье к «шмоткам» относились более чем спокойно, но я пишу о её подарках из того, что общался с тётей Фаней именно через вещи. Только теперь понимаю: как много любви, заботы, труда вложено ею в наш гардероб. Присланные вещи

отличало качество и, как бы это сказать, подобранность — мы запомнили их на всю жизнь, куртки отца я носил долгие годы.

Тётя Фаня была учителем музыки, пианисткой, записала в знаменитой фирме пластинку, и я с удивлением разглядывал этикетку с собакой и граммофоном. Фаня никого не боялась, тем более хулиганов, и, выйдя в наш неблагополучный виэмовский подъезд одна, изумила парней, жавшихся в нём от дождя, складным зонтиком, вынутым из маленькой дамской сумочки. «Я гуляю ночью в Центральном парке одна», — сказала она мне, выскочившему за ней на лестницу. Тогда я не проникся её отвагой — просто не знал, что такое Центральный парк ночью. Основной заботой Фани, конечно, была семья, дети, муж и родители, прожившие с нею до конца дней.

Моня считал свой трудовой стаж с четырнадцати лет, около семнадцати ушёл из дому, бродяжничал, пробиваясь в разных штатах иногда очень тяжёлым трудом, и изредка возвращался к родителям на побывку... В двадцать два года Моня в последний раз пересёк континент, чтобы наняться в Сан-Франциско на корабль и вернуться на родину, удивительную далёкую страну, в которой начиналась новая, невиданная, счастливая жизнь всех людей.

Эпилог

Эту маленькую книжицу я пишу столько лет, сколько себя знаю.

Я начал писать ещё до того, как научился писать, и очень хорошо помню тот момент жизни.

В нашем магаданском детском садике для дневного сна раскладывали кровати в светлом зале на китайском ковре. Все спали, а я лежал на спине и смотрел в белый потолок. Надо мною танцевали мухи, как бы ударяясь о невидимые стенки, и я подумал — нет, не подумал, а услышал: «Как в хрустальном кубе... Это надо записать...» — и вслед сразу... песок, море, солнце и уходящие вверх пальмы... Понимаете ли, мне не было и шести лет, я не знал, что такое «хрусталь», никогда не слышал о Гавайских островах, не подозревал, что море бывает тёплым, но главное — я ещё не умел писать!..

Множество раз приступал я к своей книге, и всегда что-то случалось — чаще всего рукописи просто исчезали. Трудно поверить, но на глаза будто надеты очки с фильтром: всё видишь, а своих листов не видишь. В докомпьютерную эру исчезали листы, в компьютерную — файлы. И я понял, что не готов, что мне надо прожить всю отцовскую жизнь до конца.

Отец не дожил двух месяцев до шестидесяти двух лет. Вычислив дату, в последних числах августа я приступил к книге. И специально купленная красивая тетрадь исчезла!..

Мне мешало главное: я никогда не видел того, о чём собирался писать, я не знал Америки.

Теперь я намного старше своего отца — странное ощущение, поверьте. Я ходил по американской земле, видел исчезающий след своей ступни на песке той стороны Атлантического океана... И всюду: на ступенях Публичной библиотеки, на Бруклинском мосту, у подножия Статуи Свободы — во всех тех местах, которые мне казались не тронутыми временем, искал тень юноши, Мони, папы, мальчика, которого никогда не знал. Я ведь помню отца молодым, с залысинами на огромном лбу, с морщинами, сединой, помню складочки на его руках, пальцы, манеру ходить в расстёгнутом пальто, носить шляпу, прикусывать трубку... Отец курил «Золотое руно», исчезнувшее теперь вместе с неповторимым ароматом... А мальчика должен был угадать в сетке затёртых следов почти столетней давности...

И вот книга написана, она теперь ваша. Так почему я не могу с нею расстаться, почему мне всё чудится, что я не избыл свою вину перед ним? Почему я так мучаюсь тем, что ни разу, знаете ли вы, ни разу не сказал ему, как я его люблю? И мечтаю о том,

как мы встретимся Там, и я увижу его, и не будет нужды ни в словах, ни в прикосновениях. Мы просто будем стоять рядом, смотреть друг на друга и молчать. И он скажет мне молча: «Алюха, я всё знаю». А я буду знать, что он прожил со мной всю мою несусветную глупую жизнь и простил...

От отца в наследство остались бухты магнитофонных плёнок. Их невозможно было прослушать, поскольку магнитола «Эльфа» не совмещалась с обычными катушечными магнитофонами. Но всё же один человек сумел перевести те записи в современный формат. И мы слышали отца, читающего «Сакья-Муни», прослезились над семейной постановкой «Сказки о царе Салтане» с голосами всех, даже бабушки Фроси, обнаружили запись урока английского языка, того самого, с дивным нью-йоркским произношением начала двадцатого века... И ещё музыку... Две бобины американских песенок 20-х годов, «рекордед» с приёмничка «Toshiba» втайне от нас!

Так вот, что любил отец! Бог мой! Вот, о чём говорил, что хотел слышать, что скрывал от всех, даже от меня! Вот, что он прятал в самой глубине во все дни своей жизни: на фронте, в бараках, на Колыме и даже во дни относительно спокойного проживания советским персональным пенсионером... Мне казалось — я всё знаю о нём, если не знаю, то чувствую! А я ничего не знал...

Стараниями близкого человека, я получил от HIAS копию иммиграционного манифеста, согласно которому:

25 августа 1920 года из Йокогамы (Япония) отчалил и 10 сентября того же года прибыл в Сан-Франциско (Калифорния, США) пароход «TENYO MARU».

С парохода в числе других пассажиров сошли мать и сын: Greaf Yudes, 39 лет, и Greaf Emanuel, 14 лет, рождённые в Вильно (Россия), прибывшие в Йокогаму из Харбина и направляющиеся в Нью-Йорк сити к брату Юдифь Kurtin Huris.

Рассказы отца — в моей крови, мне нет нужды и даже странно сопровождать их доказательствами. Всё, что я знал от отца, я знал один. Это моё. Его рассказы — часть меня. И вдруг типографский бланк, заполненный неразборчивым пером. Что же: значит, всё было взаправду?..

СОДЕРЖАНИЕ

Библиографическая карточка публичной библиотеки	7
Медаль чемпиона	10
Оставайся собой	15
Один длинный. Один короткий	21
Юнайтед Фрут компани	26
Банановые острова	31
Juicy Fruit	34
Кольцевая печь Чикаго	39
На заре автомобильной эры	46
Бурлюк, Шаляпин, Маяковский	49
Английский язык	56
Товарищ	61
Драка в Гарлеме	67
Долларовые часы	70
Young Communist League	74
«Ойфн припечек»	77
Ступня гоплита	82
«Привет контрабандистам!»	85
Кони Айленд	89
Мориц, Юдифь, Борис, Фаина, Абрахам, Эммануил	99
Эпилог	105

Экземпляр №

На рисунке:

Греф Эммануил Моисеевич

Художник Игорь Тер-Аракелян
Цветная бумага, тушь, перо, гуашь

Гарнитура: Lazurski
Макет, вёрстка: А. Греф